

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Г. Г. Сильницкий

**О С В О Е Н И Е**  
**П Р О Ш Л О Г О**

Мемуарная проза

Пермь 2016

УДК 82-94  
ББК 84(2Рус-Рос)-6  
С 42

**Сильницкий Г. Г.**

С 42 Освоение прошлого / Г. Г. Сильницкий; под ред. А. В. Пустовалова;  
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2016. – 129 с.

Книга написана известным российским ученым-лингвистом, доктором филологических наук, профессором кафедры английского языка Смоленского государственного педагогического университета, заслуженным деятелем науки Российской Федерации Георгием Георгиевичем Сильницким.

Первая часть книги («Русский Шанхай») содержит воспоминания Г. Г. Сильницкого о его детстве в семье эмигрантов в Шанхае составе французской «концессии».

Вторая часть книги – воспоминания Г. Г. Сильницкого о жизни в Перми (в то время – Молотов), учёбе на историко-филологическом факультете Молотовского (Пермского) государственного университета.

Книга проиллюстрирована фотографиями шанхайского и молотовского периодов жизни автора.

Воспоминания Г. Г. Сильницкого будут, несомненно, интересны филологам, историкам и многим другим читателям.

**УДК 82-94  
ББК 84(2Рус-Рос)-6**

Публикуется по решению Ученого совета филологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета

## СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. РУССКИЙ ШАНХАЙ .....	5
Часть вторая. ГОРОД НА КАМЕ .....	54
Послесловие .....	122
Фотографии .....	124

Г. Г. Сильницкий  
*Выпускник историко-филологического факультета Пермского  
государственного университета им. А. М. Горького 1953 года*

## ОСВОЕНИЕ ПРОШЛОГО

### Мемуарная проза

*Посвящается памяти моего отца*

*Omnia mea mecum porto*

### **Curriculum vitae Г. Г. Сильницкого**

Окончил с отличием историко-филологический факультет Молотовского госуниверситета весной 1953 г. по специальности «Филолог-лингвист». Получил направление на должность учителя русского языка и литературы в Молотовскую Областную заочную среднюю школу взрослых, где проработал до лета 1957 г.

В сентябре 1957 г. поступил в очную аспирантуру при кафедре английской филологии Ленинградского педагогического института им. Герцена, по окончании которой получил направление на должность старшего преподавателя английского языка в Смоленский государственный педагогический институт (ныне университет). Работал заведующим кафедрой английского языка (1962–1981, 1989–1999). Кандидат филологических наук (1955), доцент (1968), доктор филол. наук (1976), профессор (1977). Заслуженный деятель науки РФ (1991). Член Нью-Йоркской Академии наук (1995). Кавалер ордена Почёта № 6936 (1999). Почетный профессор СмолГУ (2012).

С 1960 г. активно сотрудничаю с Ленинградской школой типологической лингвистики при Ленинградском отделении Института Языкознания. Основоположник Смоленской школы количественной лингвистики. Тема лингвистических исследований – семантика и разноуровневые характеристики глагола. Опубликовано более 200 работ по лингвистике, культурологии, литературоведению, психологии, социологии, философии, изданных в России и за рубежом. Среди них 11 монографий, в том числе: Корреляционная типология глагольных систем индоевропейских и иноструктурных языков (1999, Смоленск), Россия в поисках смысла (2 тома, 2004, Смоленск), Количественная грамматико-фонетическая типология языков и языковых признаков (2004, Смоленск); Семантика. Грамматика. Количественная и типологическая лингвистика. (2 тома, 2006, Смоленск), Филологические опыты (2010, Смоленск).

## **Часть первая.** **РУССКИЙ ШАНХАЙ**

1. Семья. Мои родители – Сильницкий Георгий Антонович и Пояркова Галина Владимировна – в начале 1920-х годов эмигрировали в юношеском возрасте из Владивостока в Шанхай. Отец семилетним мальчиком лишился родителей и воспитывался старшей сестрой Ниной, женщиной с сильным характером и трагической судьбой. В Шанхай он прибыл в составе эмигрировавшего Хабаровского кадетского корпуса. Мать была третьей, младшей дочерью бывшего царского офицера. Ее старшая сестра Леля через несколько лет уехала в Америку, где обосновалась в Сан-Франциско, обзавелась собственной семьей и стала настойчиво звать своих родных переселиться к ней. На ее приглашение ответил ее отец, Владимир Владимирович, мой дед по материнской линии, но вскоре вернулся в Шанхай, не приняв американского образа жизни. По его словам, решающую роль в его решении вернуться сыграла неудачная попытка устроиться на работу на мебельную фабрику, где он должен был изловчиться и намагниченным молотком подхватывать за шляпку маленький гвоздик и одним ударом приколачивать к креслу обшивку. Дед счел это занятие унижительным для русского интеллигента и дворянина и уехал.

Родители поженились в 1928 году. Я родился 6 июля 1930 года. Вскоре после моего рождения наша семья поселилась на маленькой тихой улочке, Рут де Груши (ныне Yan Qing lu), в составе французской шанхайской «концессии», своеобразного «мира-в-себе», управляемого автономной французской администрацией. В том же доме № 41 занимали комнату моя бабушка, Ольга Николаевна Пояркова, старшая мамина сестра Татьяна Владимировна с ее мужем, Дмитрием Васильевичем Булгаковым. Бабушка была хлебосольной хозяйкой с ровным, невозмутимым характером; благодаря ее гостеприимству наш дом вскоре стал местом встречи довольно обширного круга знакомых по религиозным и семейным праздникам. Тётя Таня была, как говорится, «с комплексами»; она с какой-то болезненностью не терпела ни малейшего

вмешательства в свой внутренний мир. Мать приводила как пример ее «чужачества» то, что она даже ванну принимала при выключенном свете. Дядя Дима был неразговорчивый человек, обходившийся в самых различных ситуациях узким набором дежурных фраз; так, на вопрос «Когда произойдет некоторое событие?», он обычно отвечал, иногда очень кстати: «Своевременно, или несколько позже». Злые языки говорили о нем, что он относится к тому типу людей, которым удается «домолчаться в обществе до того, что их начинают принимать за авторитет».

Французская концессия, как и соседняя английская, представляли собой два своеобразных «мира-в-себе». Русская эмиграция, в свою очередь, образовала на их территории свой обособленный микро-мир. Весь уклад жизни этого мира, весь круг общения и интересов его обитателей был сугубо русским и характеризовался соблюдением привычных традиций и обычаев, религиозных праздников и обрядов, склонностью к политическим спорам и бытовым дразгам, одним словом – всеми чертами, унаследованными нашей эмиграцией от утраченной родины и пересаженными ею в новую среду обитания. Психологической доминантой этого мира, смутно улавливаемой моим детским восприятием, было общее неопределенное чувство тревоги, неустроенности, непредсказуемости ближайшего будущего, необеспеченности своего материального, юридического и политического бытия. До введения «нансеновского паспорта» русская эмиграция по всему миру была лишена официально признанного национального статуса и фактически была беззащитной от любых социальных невзгод. Преобладающей темой разговоров были превратности судьбы, выпадавшие на долю общих знакомых, основной всеобщей заботой – поиски более или менее постоянного заработка. Величайшей удачей считалось устройство на работу в какую-либо иностранную фирму или на муниципальную службу. Из самых распространенных престижных профессий была служба во французской городской полиции, из менее престижных – работа ночным сторожем (слово «вочмен» прочно вошло в местный жаргон).

В этом тревожном житейском море, отголоски которого достигали и моего детского сознания, относительным островком стабильности был постепенно налаживаемый домашний уклад жизни нашей семьи. Отец, продолжая дело своего отца, завел небольшую домашнюю типографию, дававшую скромный доход от выполнения мелких заказов. Закладывались начала некоторых семейных традиций.

Это касалось прежде всего семейных праздников. Помимо Пасхи и Рождества, у каждого члена семьи были два сугубо личных праздничных дня в году, день рождения и именины (день Ангела). Второй из них регулярно отмечался в более торжественной обстановке, чем первый. Никто из гостей специально не приглашался. Все близкие знакомые семьи знали эту дату, и к вечеру собиралась довольно большая компания. У нас с отцом был общий день Ангела – 9 декабря. Но только в этот день в поздравлениях звучало имя «Георгий». Во все остальные дни к нам обращались по более простонародному имени «Юрий», представленному в Святцах. Мама ласкательно называла меня «Юраш», и вслед за ней некоторые наши семейные знакомые шутливо обращались ко мне по имени-отчеству: «Юраш Юрашевич».

Отец обладал весьма непростым характером, сочетавшим черты повышенной общительности, склонности к сложным абстрактным рассуждениям, нетерпимости к взглядам и оценкам, отличным от своих собственных, и, вместе с тем, редкой последовательностью мысли и полемической находчивостью. Вокруг него быстро образовался узкий круг таких же горячих спорщиков, как он сам, и стоило только кому-то из них неожиданно явиться в наш дом, как, к великому беспокойству матери, самые неотложные бытовые и типографские дела откладывались в сторону и завязывалась очередная нескончаемая дискуссия по какой-либо дежурной проблеме. Споры постоянно перемежались со взаимными обидами, разрывами отношений и последующими примирениями. Неизвестно, как бы все это

сказалось на финансовом положении семьи, если бы не одно смягчающее обстоятельство.

Отец был наделен редкими врожденными способностями к музыке. Не получив специального музыкального образования, он самоучкой овладел фортепиано и аккордеоном. Услышав по радио какое-либо симфоническое произведение, он мог «на слух» достаточно точно воспроизвести его основное содержание. Его постоянно приглашали давать музыкальное сопровождение местным и приезжим певцам и танцорам, что служило существенным подспорьем для семейного бюджета. По семейному преданию он однажды аккомпанировал Вертинскому во время его краткого приезда в Шанхай, заслужив похвалу и благодарный отзыв знаменитого артиста.

Родители мало уделяли внимания моему воспитанию. Отец sporadически проводил со мной возникающие «к слову», мало связанные между собой, общеобразовательные беседы, читал обожаемого им Пушкина или «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, изредка делился воспоминаниями о своем детстве на Камчатке, где его отец, Антон Петрович, некоторое время служил чиновником и сыграл видную роль во время русско-японской войны по сохранению Камчатского края в составе России, организовав местное ополчение, отразившее попытки японской военщины захватить этот благодатный край. Позднее я прочитал посвященный ему роман В.Пикуля «Богатство» и видел поставленный по роману художественный фильм с актерами Никоненко и О. Табаковым, где мой дед под вымышленным именем был показан горячим патриотом России, много поработавшим для ее благополучия, что находит отражение в специальном разделе краеведческого музея в Хабаровске. В 2009 году хабаровчане сняли документальный фильм, посвященный деятельности моего деда на Камчатке.

Наиболее постоянным собеседником и оппонентом отца в его дискуссиях был Николай Михайлович Усачев, казачий есаул. Старше отца на несколько лет, он был активным участником гражданской войны под началом Колчака и



остро переживал как личную обиду и трагедию предательство англо-французских «союзников», приведшее к крушению белого движения. Их споры были в основном посвящены выяснению глубинного смысла русской эмиграции. Усачев не жалел самых черных красок для безапелляционного приговора революции как божьего наказания за исторические грехи России и за ее потакательство исконно враждебному отношению Запада к национальным русским интересам. Нашу эмиграцию он считал затянувшейся фазой безысходной агонии русского мира, обреченного на вымирание.

Отец соглашался с негативной оценкой революции и безбожного большевистского режима, но возражал Усачеву в его пессимистической оценке будущего России. По его убеждению, происшедшая национальная катастрофа была предопределена высшим провиденциальным замыслом в качестве критического испытания, преодолев которое Россия «прорвется» и увлечет за собой человечество в новую фазу мировой истории, предсказанную славянофилами и Достоевским. «Кого люблю, того наказываю», – любил он приводить слова, слышанные апостолом Павлом от Вседержителя человеческих судеб. Это было частью общей теософской теории отца о европейской истории как определяемой противостоянием идей славянства и англосаксонства, которую собеседник встречал с неизменным ироническим скептицизмом.

Основанием сложных рассуждений отца служил его исходный тезис о соответствии, наблюдаемом, по его убеждению, между физическими и психическими явлениями мира. В качестве примера он часто проводил аналогию между понятиями «инерции» в физическом плане и «привычки» в психическом.

Все эти «высокие материи» были выше моего детского разума и вызывали у меня лишь чувство раздражения в связи с тем, что за отсутствием своей отдельной комнаты я тщетно пытался заснуть под аккомпанемент этих бурных словоизлияний, продолжавшихся далеко за полночь. И лишь много

позднее, под влиянием нечастых, спонтанно возникающих бесед с отцом я мог составить себе более или менее ясное представление об их смысле.

Четверть века спустя, уже в зрелом возрасте мне довелось как-то прочитать у Шопенгауэра, что человек наследует от отца свои когнитивные особенности, от матери – свой характер. Не знаю, как у других, но в моем случае это соответствует действительности. Влияние отца на становление моего самосознания составило предмет моих размышлений и переосмыслений на протяжении всей последующей жизни. Образ же матери, оказавший на меня в раннем возрасте непосредственное эмоциональное воздействие, остался на многие последующие годы надежным успокоительно-просветляющим очагом стабильности, константным заслоном, оберегающим от постоянного набега волн чуждого внешнего мира.

Через некоторое время я заметил, что и на других людей, начиная с отца, она оказывает подобное воздействие. Для отца стало необходимым условием душевного спокойствия перед сном обсудить с ней события истекшего дня с подробным перечислением всех возникших недоразумений и разногласий, в которых он как правило видел только свою сторону вопроса и склонен был приписывать даже близким друзьям недостаточное сочувствие своим идущим на общую пользу, по его убеждению, начинаниям. Мать обычно раскрывала точку зрения «другой стороны», чем как правило удерживала отца от поспешных «ответных шагов», но порой навлекла на свою голову упреки в нечуткости и непонимании «самых очевидных вещей». В таких случаях дело зачастую кончалось мамиными слезами.

Эти время от времени возникающие по инициативе отца «выяснения отношений» между самыми близкими и дорогими для меня людьми причиняли мне не по моим годам острую душевную боль, источник которой интуитивно виделся мне во взаимном недопонимании подлинного смысла, вкладываемого говорящими в их слова. Я мысленно строил убедительные, как мне казалось, аргументы, сближающие их точки зрения, но не решался их высказать. Этот

ранний опыт отрицательного эффекта малейшего перебоя во взаимопонимании даже близких друг другу людей определил характерное для меня в дальнейшем болезненное отношение к любому разногласию, нарушающему согласие между мной и духовно родственными мне спутниками жизни, и стремление как можно скорее загладить возникшую трещину в наших отношениях.

Мамины подруги постоянно побуждали ее более строго противодействовать папиному неумеренному курению, убедительно доказывая, что оно наносит ущерб не только его здоровью, но и нашему семейному бюджету. Мать отвечала, что жизнь с ее проблемами требует от ее мужа такого напряжения всех душевных сил, что она не считает себя в праве лишать его единственного оставшегося ему средства разгружать свои нервы.

Я вскоре заметил, что у многих бывавших в нашем доме женщин сложились с мамой особые доверительные отношения. Они часто советовались с ней по своим семейным делам и жаловались друг на друга по поводу возникавших недоразумений. Я с удивлением наблюдал, как какие-нибудь из маминых собеседниц, лишь недавно весьма недружелюбно отзывавшихся друг о друге, при личной встрече обменивались приветливыми любезностями. Мать неизменно воздерживалась от поощрения недобрых суждений о ком-либо из общих знакомых и наоборот, приводила доброжелательные отзывы обсуждаемого человека о присутствующих, чем вносила заметный вклад в умиротворение склонного к пересудам и обидчивой мнительности нашего эмигрантского сообщества. Недаром на одном из ее именин кто-то отметил в качестве основной ее характерной черты то, что она «за свою жизнь не произнесла по адресу кого-либо ни одного злого слова».

Одна из постоянных забот мамы была связана с попытками преодолеть неприязненное отношение к папе своей старшей сестры Тани. Все началось с того, что у тети Тани обнаружился скромный, но реальный талант к живописи. Отец со свойственным ему неумеренным энтузиазмом и настойчивостью стал настаивать на том, чтобы она «не зарывала свой талант в землю» и всячески

развивала его. Он стал разрабатывать различные проекты получения ею специального художественного образования, чем нарушил «святую святых» ее тщательно оберегаемого внутреннего мира и внушил ей прочную неприязнь к себе. Мама, хорошо знавшая характер своей сестры, тщетно пыталась убедить его не вмешиваться в ее внутреннюю жизнь. Дело кончилось открытым разрывом между тетей Таней и отцом, и лишь выдержка, здравый смысл и такт моей бабушки, Ольги Николаевны, помогли сохранить какое-то подобие согласия в семье.

Лично меня это разногласие в семье не коснулось, и я продолжал свободно общаться с обеими сторонами возникшего противостояния – в частности, в полуголодные военные годы я часто умудрялся дважды пообедать – у бабушки и «у себя дома». Однако новое переживание на примере близких мне людей губительных последствий для их нормального сосуществования непонимания побудительных мотивов поведения другого человека укрепило мое интуитивное стремление всемерно способствовать сохранению согласия между людьми.

В узком семейном кругу отец часто рассказывал о своих родителях и старших братьях и сестре. Однажды эти его рассказы воплотились в живой конкретный образ, оказавшийся моей тетей Ниной, папиной старшей сестрой, приехавшей в Шанхай из Советской России. Официально она числилась в составе какой-то торговой делегации. Тетя Нина привезла мне много подарков, в частности – богато иллюстрированные книжки с детскими стихами Корнея Чуковского, и вообще отнеслась ко мне с непривычными в нашем материально стесненном быту ласковостью и вниманием, чем вызвала у меня ответное чувство благодарности и симпатии. При ее отъезде, вопреки моей тогдашней стеснительной сдержанности в выражении своих чувств, я настойчиво призывал ее как можно скорее приехать к нам снова. Лишь много лет спустя, будучи уже в преклонном возрасте, я узнал, что на самом деле она работала секретаршей-машинисткой в Министерстве иностранных дел и проживала в

Москве на Кузнецком мосту в доме для дипломатических работников. По возвращении в Россию она была арестована и, как почти все ее (то есть и папины) родные, подверглась расстрелу в застенке ЧК. Таким образом, наша семья по отцовской линии в полной мере разделила горькую участь многих русских в те страшные тридцатые годы.

2. Колледж Жанны д'Арк. Тем временем, невзирая на все возникающие субъективные проблемы, наша шанхайская жизнь шла своим чередом и ставила передо мной все новые задачи. Еще в пятилетнем возрасте меня отдали в близлежащую восьмилетнюю мужскую школу, «колледж Жанны д'Арк», с двумя отделениями – французским и английским. Не знаю, по каким соображениям родители выбрали английское отделение, что в значительной степени определило мою дальнейшую жизненную судьбу. Школа содержалась католическими монахами; родители так и не удосужились уточнить, какого ордена; но, судя по частому упоминанию с пиететом святого Франциска Ксавье, это были иезуиты. В многонациональном составе учеников было немало детей русских эмигрантов. Мы все дисциплинированно посещали ежедневные молебны в школьной часовне, хором пели католические религиозные гимны, не оказывавшие на нас какого-либо заметного влияния (во всяком случае, мне не известен ни один случай перехода русского ученика школы в католическую веру).

В русской ученической среде чувство экономического и социального неравенства, показательное для «взрослого» эмигрантского сознания, тоже давало о себе знать. Это сказывалось прежде всего в языковом плане. Все ученики, кроме, как правило, русских, бойко владели упрощенным английским языком, так что первые несколько месяцев я остро ощущал свою коммуникационную неполноценность за пределами своих русских одноклассников. Основные затруднения я испытывал с произношением наиболее часто употребляемого слова – *brother* («брат»), бывшего официальной формой обращения к монаху-учителю. Это английское слово содержало два

звука, гласный и согласный, не представленные в русском языке, и выговаривалось мною на русский лад как «брадер». К счастью, мне удалось за сравнительно короткий срок усвоить необходимый минимум языковых средств для элементарного общения со своими нерусскими товарищами и учителями.

В колледже культивировались спортивные игры, в первую очередь – футбол, упрощенный до семи игроков в команде и именуемый «соккер», а также «софтбол» (упрощенный американский бейсбол) и другие, игравшие не меньшую, если не большую роль в ученическом общественном мнении, чем успехи в учебе. В футболе выше всего ценилось искусство *дриблинга*, обводки с мячом наибольшего числа игроков противоположной команды. Однако самой престижной и желанной на футбольном поле почему-то считалась функция вратаря-*гоули*.

«Брадеры», особенно те, что помоложе, подчеркнуто вели себя по товарищески с учениками: играли наравне с ними в футбол, всячески поощряя инстинкт соревнования на всех мыслимых уровнях: между различными классами, между английским и французским отделениями, между католиками и не католиками и т.д. Особенно отличался своим спортивным темпераментом брадер Эдвард, высокий худощавый монах, азартно поддерживающий своими репликами и указаниями поочередно одну ученическую команду в первом тайме и противоположную во втором. Он сам отменно владел дриблингом и охотно принимал участие в игре; мне живо запомнился игровой эпизод, где он измотал то в одну, то в другую сторону игравшего против него коллегу-брадера.

Этот культивируемый дух соревнования послужил источником определенного испытания для моего нежданно проявившегося национального чувства. Среди учеников быстро установилась некоторая социальная иерархия по национальной принадлежности. Привыкший в кругу семейных знакомых к уважительному отношению к понятию «русский», я с неприятным удивлением обнаружил некий трудно определимый, но отчетливо улавливаемый оттенок

снисходительного превосходства, ассоциированного со словом «*раинн*» в самом способе его произношения моими иноязычными одноклассниками.

Таким образом, с самого раннего возраста я стал ощущать свое существование как причастность двум противостоящим друг другу в языковом и ментальном планах миров. При этом второй, иноязычный мир все в большей мере втягивал меня, как и моих сверстников по школе и улице, в русло той гибридной русско-англоязычной цивилизации, которая составляла сферу моего жизненного пребывания за пределами тепличного оазиса ограниченного, искусственно поддерживаемого русского мира. Постепенно вырабатывался местный вариант «пиджин-инглиш», своеобразного «койне» с примесью отдельных китайских слов, служившего средством общения молодого поколения между собой и не всегда понятного взрослым.

Повальным увлечением школьников в этом новом для меня мире были «марблз» (по-русски, «мабсики») – стеклянные разукрашенные игровые шарики диаметром около полутора сантиметров. Игрок зажимал шарик между согнутым указательным пальцем и подведенным под него в виде пружины большим пальцем, разжимая который с силой катапультировал шарик вперед, целясь в такой же шарик противника. Существовало множество игр, в которых пораженные по определенным правилам марблз противников переходили в собственность победителя. Эти ранние проявления собственнического начала были причиной первого в моей жизни опыта перенесенной несправедливости и насилия. Однажды когда я разложил на земле свое мабсиковое сокровище, чтобы пересчитать его, проходящий мимо старшеклассник, буркнув «Это мои марблз», сгреб рукой сколько мог захватить и сунул в свой карман. Не помня себя, я вцепился в его руку, всхлипывая от обиды. Завязалась потасовка. К нам быстро подошел дежурный «брадер», в чьи обязанности входило пресечение часто возникавших ссор и препирательств. Глотая слезы, я мог произнести лишь одно слово: «марблз!», указывая на моего обидчика. Брадер что-то ему

сказал, и тот швырнул на землю какую-то часть захваченного и отошел прочь. Воспоминания об этом происшествии долго не давали мне покоя.

Другим, наряду с марблз, поголовным увлечением моих сверстников были «комиксы» – серии красочных рисунков с незамысловатыми сюжетами и с исходящими из уст персонажей краткими репликами. Но к концу первого класса мой основной интерес переключился на другой своеобразный жанр тогдашней популярной литературы – на так называемые “big-little books” («большие-маленькие книжки»), представлявшие собой компактные издания небольшой кубической формы, почти одинаковые по размеру в трех своих измерениях, нечетные, левые страницы которых содержали связный текст, иллюстрируемый черно-белым рисунком на противоположной четной, правой странице. Таким образом, текст и иллюстрации к нему были представлены в одинаковой пропорции и точно соответствовали друг другу по содержанию. Эти удобные в чтении и обращении пухленькие книжицы, к которым я на долгие годы сохранил благодарность и теплые воспоминания, впервые приучили меня к восприятию связных и достаточно обширных текстов, то есть к чтению в подлинном смысле слова, хотя и разбавленному постраничными иллюстрациями.

Еще через несколько месяцев следующий этап освоения мною текстового мира, определившего на всю последующую жизнь мою увлеченность письменным словом, был связан с моим самым неразлучным школьным другом за весь восьмилетний период учебы в колледже, Алешей Топорниным, жившим через несколько домов от меня по той же рут де Груши.

Алеша был шустрый мальчик, постоянно находился в курсе злободневных городских и школьных событий и всегда имел сообщить что-то интересное. От него я уразумел, о чем как-то не задумывался раньше, что любая книга и фильм не являются на свет стихийно, «сами по себе», но за ними стоит определенный создатель, имеющий самостоятельное существование, независимое от своего произведения. Так, Алеша познакомил меня со своим



кумиром – писателем-фантастом по имени Эдгар Райс Бёрроуз (Burroughs). Оказалось, что тот придумал не только известный всем образ Тарзана, но и целый ряд других, в том числе Джона Картера с Марса, неизвестного никому из наших одноклассников, кроме Алексея. И он увлеченно начал мне пересказывать его удивительную историю. Найдя во мне внимательного слушателя, Алеша предложил мне самому почитать имеющиеся у него книги о Картере.

Так мне довелось впервые держать в руках «настоящую» (как у взрослых) книгу безо всяких картинок и не связанную с довольно скучными рассказами из школьного учебника. Помню, с каким опасением я открыл первую страницу и был приятно удивлен тем, что моих скудных знаний английского языка оказалось достаточно, чтобы создавать в своем воображении визуальную картину («как в кино») прочитанного и в основных чертах следить за перипетиями захватившего меня сюжета. Меня поразила мысль, что здесь я имею при себе возможность безо всяких вспомогательных материальных средств «прокручивать» в своем мысленном восприятии бесконечное множество историй, за удовольствие ознакомления с которыми иначе пришлось бы понести большие издержки на кинобилеты и прочие жизненные ресурсы. Таков был первый шаг моего вступления в волшебный мир вымысла и началось мое продолжающееся и поныне «nonstop» плавание по безбрежному текстовому морю. Спасибо Джону Картеру с Марса и Алешке Топорнину с рут де Груши! Отсюда же проистекает мое граничащее с одержимостью библиофильство в зрелые годы жизни, готовность в любом городе без устали рыскать по книжным и букинистическим магазинам в поисках все новых книг, чтобы иметь у себя «под рукой», «не выходя из дома» возможность ознакомиться с самым интересным, что было придумано людьми.

В 1937 году враждебный внешний мир прорвался в нашу тихую шанхайскую заводь: город был оккупирован японцами. Это мало отразилось на установившемся конкретном укладе жизни; лишь усилилось общее чувство

безотчетного напряжения. Вскоре по Шанхаю распространился слух, что японцы превратили первые пять этажей находившегося в ближайшей близости от рут де Груши высотного здания Gascoigne Apartments, в основном заселенного иностранцами, в военный склад, напичканный военным снаряжением в виде снарядов, бомб и разного рода взрывчатых веществ, стремясь гарантировать себя таким образом от любой американской бомбардировки. Таким образом, в случае воздушного налета на Шанхай город – и в первую очередь наш район – взлетел бы на воздух, разделив трагическую участь немецкого Дрездена. Однако эта потенциальная смертельная опасность почему-то вызвала в нас меньшее чувство тревоги, чем периодически появляющиеся на улице...

Эта перемена мало отразилась на установившемся укладе жизни; лишь усилилось общее чувство безотчетной тревоги, внушаемой периодически появляющимися на улице отрядами японских солдат и непривычным, угрожающе звучащим словосочетанием «японская комендатура», все чаще употребляемым в разговорах взрослых. Однажды под вечер мы с соседними ребятами стояли у освещенной витрины кондитерского магазина и занимались любимым делом – выбирали по-очереди соблазнительные яства, которые мы купили бы при наличии денег. Внезапно всю улицу переполошили громкие крики. Мы оглянулись и увидели, как два японских солдата заталкивали в подъехавшую военную машину отчаянно отбивающегося и кричащего надрывным голосом китайца. Сцена произвела на всех удручающее впечатление. После отъезда машины мы долго стояли молча и так же молча разошлись. Я долго не мог заснуть в эту ночь, впервые оказавшись свидетелем неприкрытого человеческого насилия. В течение многих дней воспоминания о виденном продолжали жить в моем воображении, не давая мне покоя.

В 1939 году, когда я кончил четвертый класс, родители решили провести лето «на природе», чтобы я не рос чисто городским ребенком и имел хоть какое-то представление о внешнем мире за пределами Шанхая. Действительно,

если не считать редких посещений городского Джесфилд Парка, я, как и мои уличные товарищи с соседних домов, проводили наши детские игры в основном на территории наглухо заасфальтированных сквозных «пассажей», соединяющих нашу улочку с пролежавшей параллельно с ней Авеню Жоффри, одной из двух центральных магистралей французской концессии. Единственный наш «контакт» с живой природой осуществлялся на небольшой замусоренной полянке со скудной растительностью и маленькой горкой в глубине. Поэтому я весьма положительно встретил перспективу ближе познакомиться с «настоящей» природой.

Правда, реальность оказалась мало соответствующей моим ожиданиям. Родители сняли на лето небольшую хижину-«фанзу» в непосредственно прилегающем к городу районе Ханьджау, необустроенную в плане элементарных бытовых удобств. Но главное, окружающий ландшафт больше походил на нашу городскую полянку, чем на живописные пейзажи, которые мне приводилось иногда видеть на китайских гравюрах. Ханьджау представлял собой плоскую равнину, покрытую хилой растительностью в виде редкого кустарника и камышовых зарослей. Единственной зацепкой для глаза служили небольшие бамбуковые рощицы.

Лето пролетело, не оставив никаких особых впечатлений. Но по возвращении в город обнаружилось, что я заразился малярией. Это была первая «серьезная» болезнь в моей жизни. Меня периодически схватывала лихорадка, заставлявшая в течение около полутора часов биться в конвульсиях, затем отпускала так же внезапно, как началась. Я подвергся лечению всеми предписанными медициной способами без какого-либо видимого результата. Родители стали испробовать на мне множество «народных» рецептов. Кто-то посоветовал поместить вареное яйцо в скорлупе в стакан с красным вином, выдержать двадцать дней и дать мне выпить. По истечении этого срока яйцо обмякло, приобрело какой-то неравномерный фиолетовый цвет, скорлупа стала рыхлой и пористой. Не знаю, случайно или нет, но болезнь отступила, оставив

за собой длительный период выздоровления и восстановления сил. В течение нескольких месяцев я был привязан к постели, не испытывая никаких физических неудобств, кроме непривычной слабости и головокружения.

Так, судьба неожиданно выдала мне отключение от сложившегося распорядка жизни. Я почти физически чувствовал течение повисшего на мне своей монотонной тяжестью «пустого» времени, лишённого как обычных школьных и бытовых обязанностей, так и привычных игр и развлечений на нашей полянке, ставшей вдруг дорогой и желанной.

В разговорах наших знакомых часто звучало имя Минцлова, русского эмигрантского писателя. Однажды я нашел на нашем обеденном столе, придвинутом в моей кровати, потрепанный роман этого автора «Клад». В предыдущие два-три года, слушая мамино чтение подаренных тетей Ниной детских книг, я по ее подсказкам каким-то незаметным для себя образом научился азам русского чтения. Позже я самостоятельно прочел книжку «Маленький лорд Фаунтлерой» Чарской и несколько других ее детских рассказов. Но теперь передо мной лежала книга с интригующе многообещающим подзаголовком «Роман» без приписки «для детей». С первых же страниц я почувствовал нечто новое в его содержании сравнительно с Джоном Картером. Это была приключенческая история, захватывающая воображение, но иным способом, чем у американского фантаста. Здесь не было ни зеленых четвероруких марсиан, ни десятиголовых чудовищ. Оказалось, что не менее напряженное слежение читателя за перипетиями разворачиваемой фабулы (позже я узнал непредставленное в русском языке слово «*suspense*» в этом значении) может достигаться автором, не прибегая к изображению заведомо нереальных образов и ситуаций, но используя данные, не противоречащие повседневному человеческому опыту.

Так я приобщился к чтению на родном языке и почувствовал вкус к русской художественной литературе. Мне не терпелось поскорее закончить книгу, и я все заглядывал в ее конец, чтобы определить, сколько еще осталось.

Но какое-то внутреннее чувство не позволяло мне просто прочитать последний абзац, чтобы сразу узнать, чем все кончилось. Я должен был «по-честному» выдержать испытание прочтения каждой страницы. Когда отец узнал, что я самостоятельно одолел целую книгу, он похвалил меня и спросил, что еще принести мне прочитать из библиотеки. Я попросил какую-нибудь книгу того же Минцлова. Отец принес «Под шум дубов». Так впервые я приобщился к миру русской истории.

Так мое вынужденное болезнью отключение от внешней действительности и погружение в свой внутренний мир имело результатом мой решительный поворот к русской классической литературе как к естественной для меня духовной среде обитания. Я быстро вжился в специфическую атмосферу дворянских помещичьих усадеб, проникся духом их обитателей, задумчивых молодых людей, ищущих смысла жизни, и мечтательных тургеневских барышень, научился понимать и разделять их чувства и стремления. Наиболее сильное впечатление на мое воображение произвел «Обрыв» Гончарова; я буквально влюбился в образ Веры. Отныне я жил в двух мирах – в действительном мире школы и улицы и воображаемом мире русской дореволюционной литературы, и трудно сказать, какой из них представлялся мне более реальным.

Пропустив по болезни полгода школьных занятий, я с трудом перешел в следующий класс. В колледже все занятия в течение года вел один и тот же учитель, который по своему усмотрению распределял учебное время между различными предметами. Мой новый преподаватель, наряду с обязательными предметами (среди которых наибольшее внимание уделялось математике) постоянно вводил в качестве факультативных новые учебные дисциплины. В этом году он выбрал в качестве педагогического эксперимента «Собеседование» (“Conversation”). На доску вывешивалась большая картина городской площади с десятками персонажей различных возрастов, держащих в руках различные предметы и взаимосвязанных между собой различными

отношениями. Ученику давалась в руки указка, и он должен был составить связный и максимально развернутый рассказ о содержании картины.

Надо сказать, что на протяжении всех предыдущих лет учебы я относился с безразличным равнодушием к школьным занятиям, воспринимая их как нечто навязываемое мне извне и редко поднимаясь выше среднего уровня в ежегодно проводимых рейтинговых опросах, определяющих место каждого ученика в иерархической структуре класса. Тем неожиданнее как для меня, так и для моих одноклассников (да и самого учителя) было проявление моего повышенного интереса и активности на занятиях по этому новому предмету. Слова как бы сами собой складывались в предложения, которые последовательно сцеплялись между собой, вырисовывая все новые сюжетные линии из потенциально беспредельного множества отношений между воображаемыми персонажами, изображенными на картине. Так я познакомился с чувством особого удовлетворения, связанного с вербальным анализом и выражением зрительного восприятия в речи.

Начало войны летом 1941 года, заставшее меня при переходе в 6 класс, подобно удару молнии поляризировало шанхайское эмигрантское общество, разделив его на четко противопоставленные друг другу большинство, сочувствовавшего Советскому Союзу, и обострившее свое враждебное отношение и нему меньшинство. Наша семья безоговорочно примкнула к первому лагерю. В самые тяжелые дни первых поражений советской армии был создан комитет, собиравший желающих любым способом содействовать своей подвергнувшейся смертельной опасности родине и обратившийся в советское правительство с просьбой принять их добровольцами на любой участок фронта. К некоторому моему удивлению, памятуя его недавние прения с отцом, среди подписавшихся оказался Николай Михайлович Усачев. Патриотическое ходатайство шанхайцев, как и представителей русской эмиграции Харбина и некоторых других китайских городов, не было удовлетворено.

В иностранной прессе, как и в ученической школьной среде, драматическое развитие военных действий в осенние месяцы 1941 года вызвало оживленное обсуждение, поразившее меня своей чуть ли не сочувствующей Германии тональностью. События взхлеб комментировались как захватывающее спортивное состязание: приводились ужасающие цифры советских убитых и пленных, делались, как в азартной игре, прогнозы и ставки на сроки взятия немцами того или иного русского города, падения Москвы и советского режима, строились предположения о том, что будет делать Гитлер дальше с завоеванной страной. Эти прогнозы обретали удручающую правдоподобность из-за предыдущих успехов немецкой военной машины, сметавшей наподобие тяжелого катка одну страну за другой. Казалось, нет в мире силы, способной противостоять этому нашествию.

Как вдруг военные сводки изменились. Впервые с начала общеевропейской войны наступление прежде непобедимого вермахта захлебнулось под Москвой и затем было повернуто вспять. Мы вздохнули с облегчением, воздерживаясь, однако, от построения слишком оптимистических прогнозов на будущее. И недаром: следующий 1942 год начался с нового ураганного блицкрига немецкой армии. И опять возобновились в иностранной прессе предсказания скорой окончательной победы Германии над Россией, как обычно именовался Советский Союз.

Затем наступило «сталинградское чудо», в корне изменившее тональность газетных сообщений. Известный шанхайский книжный магазин Флита стал регулярно выставлять на своей витрине издания с просоветским освещением хода военных действий. Мне особенно запомнилась монументальная книга, озаглавленная: «Сталинград. Битва, из которой Советский Союз вышел военным и политическим гигантом мира». В школе я ощутил заметное улучшение отношение к русским.

Ситуация в школе радикально изменилась после нападения Японии на Пёрл Харбор и начала ее войны с Америкой и Англией. Привилегированное

положение американских и английских школьников кануло в прошлое. Обязанные носить особые нарукавные повязки, они превратились из обособленной высшей касты в столь же обособленных, но в противоположном смысле, париев. Вскоре они вовсе исчезли из нашего поля зрения; распространились слухи, что они были интернированы в лагерь «для лиц враждебных Японии национальностей».

Поскольку Советский Союз сохранял нейтралитет относительно Японии, положение русских эмигрантов не претерпело видимых изменений. Создалась особая политическая ситуация, усугублявшая и без того тревожную неопределенность эмигрантского статуса той части русских, которые все более открыто проявляли свои симпатии к державе, союзнице стран, воевавших с Японией. Оставалось надеяться, что Япония не последует восточной поговорке «Друг моего врага – мой враг» и не выполнит своих союзнических обязательств перед Германией, всемерно побуждавшей ее напасть с тыла на обескровленную Россию.

В сентябре 1942 года я перешел в восьмой, выпускной класс колледжа. Его вел братец Марсел, который запомнился мне как наиболее своеобразный учитель английского отделения школы. В первый же день занятий на уроке геометрии он ошеломил класс, небрежным движением руки очертив на доске неправильный овал, который должен был восприниматься как круг. Аналогичным условным образом изображались треугольник, трапеция и другие геометрические фигуры. Такое нестандартное визуальное представление объектов геометрии выступало резким контрастом с их тщательным выписыванием при помощи циркуля и линейки у его предшественника, учителя предыдущего класса. Как бы отвечая на наше невольное недоумение, братец Марсел сказал: «Невозможно в точности воспроизвести на доске или на бумаге идеальный круг или идеальную трапецию».

Другая особенность брата Марсела состояла в том, что время от времени, когда до конца занятий оставались свободными какие-нибудь



полчаса, он позволял себе импровизацию на ту или иную тему. Наиболее часто он рассказывал нам эпизоды из жизни святого Августина, раскрывающие его чисто человеческие реакции в обыденной действительности. Мне запомнилось его определение сути праведной жизни: «Люби Бога и делай, что хочешь». На вопрос, как бы он поступил, если бы узнал, что через полчаса его постигнет смерть, Августин ответил, что он продолжал бы заниматься тем же самым, что делал до этого.

В одном из своих импровизационных экскурсов братер Марсел поведал нам историю о некотором античном философе из древнего города Сиракузы. Когда город подвергся опасности вражеского нашествия и его жители спасались бегством, унося кто что мог из своего домашнего имущества, кто-то спросил философа, почему он идет налегке, не взяв с собой ничего. Тот ответил: «Все мое несу с собой». Это изречение сразу врезалось мне в память в своей афористической латинской форме: «*Omnia mea mecum porto*») и запомнилось на всю последующую жизнь. Не раз впоследствии я мысленно проговаривал его в возникавших критических ситуациях. А тогда впервые за время своей учебы в колледже я услышал на уроке что-то такое, что не только коснулось по касательной моего формального понимания, но эмоционально задело за живое. Если прежде на уроках «*conversation*» я испытал новое для меня чувство удовлетворения от легкости, с которой виденное на картине претворялось в правильную речь, то теперь я получал еще более глубокое удовлетворение от самого процесса возникновения самостоятельных мыслей, не имеющих визуального обоснования, но появляющихся как бы спонтанно в моем сознании. Несколько следующих дней я находился под впечатлением этого непривычного, независимого от моей воли переживания.

Что означают слова «*omnia mea*»? Что это за «все мое», которое всегда со мною? Вспомнилась давнишняя история с мабсиками. Марблз свободно умещались в кармане и, при моем желании, могли постоянно пребывать при мне. Однако в тот памятный день они подверглись насильственному

отчуждению от меня. Тут я спохватился, что давно не думал о них, и даже затруднился бы сказать, где они находятся в настоящий момент. То, что было когда-то предметом жгучего интереса и желания, потеряло теперь для меня всякий смысл. В результате напряженного размышления я пришел к заключению, что *omne me* определяется двумя особенностями: оно представляет что-то неотъемлемое и безусловно ценное для меня. Наглядным примером могло служить само изречение «*Omne me tecum porto*»: после того, как я узнал его и воочию испытал его преобразующее влияние на мое душевное состояние, ничто уже не способно было сделать его несуществующим для меня. Отсюда следующее откровение: подлинное *omne me* составляет достояние моего внутреннего мира и включает все, что я знаю, чувствую и могу сделать. Это невозможно купить ни за какие деньги и достигается только своими личными усилиями. Я подумал, что для папы это, прежде всего, его музыкальные способности.

Вдруг меня поразила своей дерзостью неожиданная мысль. Если так, если все, что прорастает сейчас в моем сознании, соответствует истине, только от меня самого зависит увеличить это мое *omne me*, то есть приобрести как можно больше знаний не ради того, чтобы избежать на уроке порицание учителя, а с более дальновидной целью самообогащения единственным видом собственности, которая всегда останется при мне. В более конкретно-осязаемом плане во мне с этого дня стала вызревать и крепнуть установка на то, чтобы распространить успешный опыт с занятиями по *conversation* на все остальные школьные предметы и окончить колледж наравне с лучшими учениками класса.

Эта идея не только не ослабевала во мне с течением времени, но пускала все новые ростки, обрастая новыми деталями и принимая все более конкретные очертания. Второй семестр учебного года был начат мной с новым душевным настроением. Одноклассники и брат Марсел вскоре обратили внимание на мое нежданно проявившееся усердие в занятиях, что послужило поводом к

участившимся ироническим ремаркам учеников, особенно наиболее преуспевающих; но я облекся как защитной броней своим решением и не отступал от принятой линии его осуществления. В результате мне не только удалось сравняться с традиционно высокоуспевающими одноклассниками, но и, неожиданно для меня самого, окончить школу первым учеником. На торжественном выпускном акте мне вручили, наряду с дипломом, монументальную английскую книгу о Петре Великом, которую я храню до сегодняшнего дня.

Итогом этого первого, завершившегося цикла моей жизненной траектории было следующее рассуждение: если одна-единственная, случайно услышанная фраза, некогда произнесенная древним философом, оказала такое воздействие на мою жизнь, каким же должен быть духовный потенциал всей человеческой культуры, всего, что было наработано человечеством на протяжении его существования! С этим итоговым напутствием мое завершившееся детство проводило меня в отроческий период моего жизненного пути, открывающийся передо мной в беспокойном мире середины 1943 года.

3. Эколь Реми. После моего окончания колледжа Жанны д'Арк встал вопрос о моем дальнейшем школьном образовании. Можно было продолжить его в рамках более продвинутой школы святого Франциска Ксавье (S.F.X.), руководимой тем же католическим монашеским орденом. Мне этот вариант казался наилучшим; но родителей, по разным причинам, он не устраивал. Школа была расположена на территории не французской, а английской концессии, в другом конце Шанхая; время было беспокойное, и при малейшем обострении политической ситуации сообщение между двумя частями города перекрывалось на несколько часов. Поэтому мама решительно возражала против такого «чреватого неоправданным риском решения», как она его называла. Отец же считал, что я достаточно долго находился под англосаксонским ментальным влиянием, так что надо отдать меня в русскую школу.

В Шанхае была школа для детей русских эмигрантов, юношей и девушек, содержащая почему-то французским муниципалитетом. Все обучение велось русскими учителями на французском языке. Это послужило отцу лишним доводом в пользу данного выбора. Он говорил, что современному образованному человеку необходимо владеть тремя иностранными языками: английским, французским и немецким, поскольку все стоящее внимания в мире или написано на этих языках, или переведено на них.

Так я попал в совершенно иную языковую и психологическую среду. Сам внешний вид эколь Реми отличался от школы Жанны д'Арк. Ландшафтной доминантой колледжа было обширное, неправильно овальной формы, зеленеющее травяным покровом игровое поле ("playground"); учебное и административное здания были скрыты из вида высокими деревьями. По контрасту первое что бросалось в глаза при входе на территорию эколь Реми был прямоугольный двухэтажный фасад школьного здания, расположенный вдоль всей длины столь же прямоугольного, совершенно плоского участка, покрытого гравием (без единой травинки), более похожего на армейский плац для военных занятий, чем на школьную игровую площадку.

В классе ба, куда я был зачислен, было около тридцати учеников обоих полов. Большая часть мужского состава класса была старше меня по возрасту. Первое, что привлекло мое внимание, было большое количество имен, известных мне, даже при моем скудном знании истории, из прошлого России: Шереметьев, Врубель, Варламов, Паскевич, Лазарев. Не знаю, были ли они связаны какими-то родственными узами с этими знаменитыми фамилиями, или просто случайными однофамильцами.

Фамилия одного из одноклассников была знакома мне по ее частому упоминанию среди наших семейных знакомых – Семенюк. Это была известная в шанхайском эмигрантском мире женщина, входившая в ближайшее окружение епископа Иоанна, почитаемого в эмигрантских кругах в качестве святого. Мой одноклассник – Боря – оказался ее сыном. Я инстинктивно

потянулся к нему, и он охотно взял меня под свое покровительство, знакомя с людьми и правилами игры в этом новом и незнакомом для меня мире. Первым делом, он свел меня с двумя своими друзьями – Юрой Игнатьевым, сразу назвав его кличку «Ягненок», и Юрой Зайцевым («Зайкой»), представив их как лучших рисовальщиков в классе и едва ли не во всей школе. Игнатьев сразу обратил на себя внимание плохо укладывающейся на голове, непокорной прядью волос.

Директором школы был месье Николэ – высокий подтянутый француз с военной выправкой, строго следивший за дисциплиной и внушавший почтительный трепет учащимся. Вскоре после моего поступления случилось торжественно обставленное исключение из школы чем-то провинившегося ученика. Все учащиеся были выстроены в каре; на середину вышел директор, вызвал провинившегося, произнес что-то угрожающе звучащее (хотя и непонятое мне из-за плохого знания французского языка) и сорвал с фуражки осужденного на изгнание значок школы. Во время этой сцены мне пришло в голову, что за все восемь лет учебы в колледже я ни разу не видел его директора и даже не догадывался о его существовании. Когда все стали расходиться, слышались удивившие меня реплики, осуждавшие исключенного не за его проступок, а за то, что он дал себя унижить перед всеми, вместо того чтобы просто не явиться на позорящую его церемонию. В колледже подобные бунтарские настроения были немыслимы.

Невладение официальным школьным языком, особенно в его устной форме, существенно затрудняло мою адаптацию к непривычной для меня обстановке (в колледже два учебных часа в неделю, выделяемые французскому языку в качестве «инострannого», давали лишь самые поверхностные знания). На уроках в новой школе я понимал лишь малую часть того, о чем говорил учитель. Мои затруднения усугублялись тем, что, в отличие от колледжа, где в каждом классе в течение всего года занятия велись одним и тем же учителем, здесь каждый предмет имел своего преподавателя, так что мне приходилось

приспосабливаться к индивидуальным речевым особенностям каждого из них. Учителя, по-видимому, понимали мои трудности и первые два месяца не спрашивали меня на занятиях. Но в конце семестра надо было выставлять мне, как и другим ученикам, оценки по всем предметам учебного плана.

Система оценок в эколь отличалась от той, что была в колледже. Там в конце каждого семестра проводилась письменная контрольная работа, содержащая около полутора десятка вопросов. Из них учащийся мог выбрать по своему усмотрению десять, ответ по каждому из них оценивался по 10-балльной шкале. Максимально возможная итоговая оценка в 100 баллов была весьма удобной для определения в процентных числах степень успеваемости каждого ученика сравнительно с другими и его места в иерархической системе класса, чему уделялось значительное внимание с целью поощрения соревнования между школьниками. Кроме того в конце каждой недели ученику выдавался «рапорт», где отмечалась его текущая успеваемость и дисциплина, который он должен был в понедельник возвращать учителю с родительской подписью.

Система проверки знаний учащихся, принятая в эколь Реми, была, как мне казалось, менее рациональной. По каждому предмету соответствующий преподаватель выносил оценки на текущих занятиях по двадцатибалльной шкале; В конце каждой четверти учебного года административный отдел школы высчитывал попредметный средний балл каждого ученика. Помимо своей чрезмерной громоздкости данный метод страдал тем, что не брал в расчет количество ответов учащегося: один и тот же средний балл служил оценкой одного-единственного и десятка с лишним ответов по предмету. На первых порах мой средний балл по всем предметам, кроме английского языка и математики, был самым низким в классе.

Учительница французского языка – Шутова – была самой ярко-запоминающейся фигурой из преподавательского состава школы. Это была худощавая, темпераментная, словоохотливая женщина средних лет, свободно

владевшая французским языком и единственная из учителей, принципиально не пользовавшаяся русским языком не только на уроках, но и на перерывах между занятиями, прибегая к весьма экспрессивной русской речи лишь в минуты раздражения от поведения или слабых знаний того или иного ученика. Она часто оживленно обсуждала в классе бытовые подробности своей жизни, например, как ей повезло найти молочницу, снабжавшую ее необыкновенно жирным молоком, оставлявшим в банке вот такой (она показывала разведенными большим и указательным пальцами) слой сливок, или как она эффективно научилась, ложась ночью спать, предварительно прогревать постель нагретым в печке кирпичом, борясь таким образом с промозглым холодом шанхайской зимы. При этом всегда сохранялась определенная дистанция между ней и классом, и никому из учеников не приходило в голову перейти на сколько-нибудь запинабратский тон с ней.

Моя языковая недостаточность иногда приводила к курьезным случаям, приводившим меня в смущение. Однажды Шутова попросила класс дать определение французского слова «hotel» («отель, гостиница»). Я, недолго думая, выпалил: «une maison publique» («публичный дом»), вызвав заметное оживление в классе и несколько оторопевшую реакцию преподавательницы, не сумевшей сдержать смущенную улыбку. Сработала ассоциация с английским “a public house”, имеющим в отличие от других европейских языков вполне пристойное значение не «борделя», а «таверны, питейного заведения» (“pub”).

В другой раз «язык мой – враг мой» едва не привел к весьма печальным для меня последствиям. Одним из самых непопулярных в школе преподавателей была некто Синявская (проживавшая, кстати сказать, на той же рут де Груши). Однажды войдя в класс она села за стол, но тут же как ошпаренная вскочила и стала шарить рукой по сидению стула. Затем стремительно вышла из комнаты, бормоча «Безобразие!»). Минут через пятнадцать она вернулась в сопровождении месье Николэ и стала быстро и возбужденно говорить ему что-то, указывая на стул. Не дослушав ее, директор

школы строго обратился к классу. Я уловил лишь фразу: “Qui a fait cela?” («Кто это сделал?»). Класс молчал.

Тогда он начал допрашивать по очереди каждого ученика. Когда очередь дошла до меня, я смущенно молчал, не зная, что сказать. Синявская нетерпеливо вмешалась. Когда она поняла, что я плохо понимаю по-французски, она обратилась ко мне по-русски: «Это ты измазал мне стул чем-то липким?» Тут только я понял до конца, о чем идет речь. Не дожидаясь моего ответа, Синявская быстрым движением открыла мою парту и выхватила из нее склянку с клеем, которую я, как на зло, за два дня до этого принес из нашей типографии, чтобы приклеить к учебнику оторвавшуюся страницу, и торжествующе протянула ее Николэ. Я попытался сбивчиво, путаясь от волнения в словах, объяснить подлинные обстоятельства дела. При виде помрачневшего лица директора, в моей памяти замелькала недавняя сцена исключения ученика из школы.

Тут произошло нечто неожиданное: мои одноклассники стали один за другим заступаться за меня. Надо сказать, что до этого они мало обращали на меня внимания: я был для них пришельцем из чужой школы и чужого мира. Насколько я мог понять их почтительно (все-таки сам Николэ!), но убежденно приводимые доводы, они ставили на вид мое недавнее появление в школе, плохое знание языка («он даже долго не мог взять в толк, о чем идет речь») и доказывали, что у меня не было ни малейшего повода к столь серьезному нарушению школьной дисциплины.

Этот эпизод каким-то образом разрядил обстановку, и даже сама Синявская заметно успокоилась и вдруг попросила Николэ не продолжать расследования, говоря, что сама разберется. Я заметил впоследствии, что ее реакция была положительно оценена классом; во всяком случае, после этого происшествия отношение учеников к Синявской изменилось к лучшему. Так и осталось невыясненным, кто же совершил этот поступок. И хотя подобные столкновения со школьной администрацией обычно подробно обсуждались в



ученической среде, никто не возвращался к случившемуся. Это был первый в моей жизни опыт «стихийного», как бы самим собой осуществившегося разрешения конфликтной ситуации.

Размышляя о происшедшем, я невольно сравнил его с аналогичным случаем из ставшей вдруг невыразимо далекой и чуждой для меня эпохи Жанны д'Арк. В период моей слабой успеваемости там я однажды не показал мой недельный рапорт родителям, сказав учителю, что я потерял его. Через несколько дней на очередном уроке, когда я открыл парту, чтобы достать нужный учебник, сидевший рядом ученик каким-то образом узрел заявленный потерянным рапорт среди моих бумаг, с быстротой молнии выхватил его и торжествующе поднял над головой, обличив меня в обмане. Я понес причитающееся за особо тяжкие провинности наказание: четыре удара тростью по развернутой ладони. Тогда ни я, ни мои одноклассники не нашли в поступке предавшего меня ученика ничего предосудительного, противоречащего установившимся в школе моральным правилам поведения. Теперь же я в полной мере осознал несовместимость подобного доносительства с неписанным моральным кодексом моей новой ученической среды, определяемым новым для меня чувством товарищества, своей причастности к некоему духовно родственному социальному целому, и задним числом ощутил запоздалое чувство обиды и негодования по поводу поступка моего тогдашнего одноклассника. Это воспоминание отчетливо высветило в моем представлении коренное различие двух ценностных ориентиров – индивидуалистического и коллективистского – моей прежней, англосаксонской, и новой, русскоязычной, ментальной среды обитания.

Нынешний мой микромир характеризовался четким противостоянием двух относительно самостоятельных уровней – преподавательского и ученического. Невозможно было представить себе кого-либо из нынешних учителей участником спортивного состязания или игрового мероприятия совместно с учениками или вступающим с ними в сколько-нибудь

фамилиарные отношения. Помимо самого Николэ, особым статусом среди школьной администрации в ученическом общественном мнении пользовался его заместитель, Корнилов. Ходили слухи, что во время гражданской войны он служил в контрразведке белой армии; отсюда, по-видимому, среди учеников бытовало убеждение, что ему присуща способность безошибочно отличать ложь от истины, и поэтому бесполезно пытаться ввести его в заблуждение относительно незаконных пропусков занятий и других нарушений дисциплины.

С другой стороны, два низших административных чина, в чьи функции входило следить за дисциплиной на игровом плацу во время перемен между занятиями, то есть повседневно непосредственно связанных с ученической средой и наделенных ею кличками «Крокодил» и «Старик», не были защищены иммунитетом административной отчужденности и неприкосновенности и были подвержены весьма вольному отношению к ним игрового плаца. Это проявлялось в том, что время от времени плац оглашался дружным скандированием: «Кро-ко-дил!, Кро-ко-дил» или «Ста-рик! Ста-рик!», причем казалось, что никто не открывал рта для произнесения этих слов. Нельзя сказать при этом, что учащиеся относились к этим служакам, добросовестно исполнявшим свой долг, с неприязнью; это просто было проявление какого-то особого чувства солидарности и коллективного самоутверждения, невысказанного в условиях колледжа Жанны д'Арк.

В отличие от колледжа в эколь Реми значительное внимание уделялось художественному воспитанию учащихся. Уроки пения составляли один из обязательных предметов учебного плана. Несколько раз в году проводились школьные концерты с музыкальными и танцевальными номерами; последние, исполнявшиеся преимущественно женскими участницами в соответствующих балетных одеяниях пользовались особой популярностью и живо комментировались мужской частью зрителей

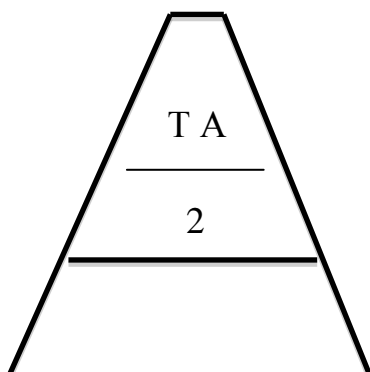
Казалось, что под наплывом новых впечатлений все, что было связано с прежним миром колледжа, безвозвратно утратило какую-либо значимость для

меня, как вдруг прошлое прорвалось сильной волной в мой внутренний мир. На одном из уроков биологии преподаватель, рассуждая о становлении нового биологического вида млекопитающих в процессе эволюции, употребил термин «внутренняя среда». По его словам, теплокровность служила внутренней защитной оболочкой, ограждающей животное от переменчивых температурных показателей внешней среды, которую оно несло в самом себе и которая оставалась константной при любых изменениях климатических условий его существования. Иными словами, в биологическом плане понятие внутренней среды определяется для организма той же формулой *omne mecum porto*, которая произвела столь радикальный переворот в моем душевном строе в недавнем и одновременно столь психологически удалившемся прошлом. Я невольно вспомнил излюбленную мысль отца о параллелизме физических и духовных законов мира.

До сих пор помню, как я ощутил физический жар от нахлынувшего на меня потока мыслей, развязанного этим сравнением. Я всем своим существом ощутил, что в новой жизненной среде эколь Реми я пребываю с тем же *omne mecum porto*, что в колледже Жанны д'Арк, и что эта внутренняя духовная среда останется при мне в качестве основания моего бытия до конца моей жизни, каких бы изменений в своей судьбе мне ни предстояло еще пережить.

К началу второго семестра я в достаточной мере освоил основы устной французской речи, чтобы в целом следить за изложением преподавателя и более или менее вразумительно отвечать на его вопросы. Однако я продолжал ощущать слегка покровительственное отношение к себе большинства одноклассников как к не вполне полноценному члену нашего ученического товарищества.

Изменение этого отношения я почувствовал после следующего случая. Однажды кто-то принес в класс анаграмматический ребус, представляющий зашифрованное название какого-то города:



Разгорелась оживленная дискуссия с многочисленными попытками расшифровки данной головоломки. Я тоже стал набрасывать на бумаге различные пространственные варианты решения типа «та-над-два-в-А», «два-под-та-в-А» и т.д. Внезапно меня осенило: «“пол-та”-в-А», и я вскрикнул так пронзительно, что все смолкли и оглянулись на меня: «**Полтава!**» Один из одноклассников подсел за мою парту, внимательно рассмотрел мои записи и произнес: «я думал, он байбак-байбаком, а оказывается – “*мозгач*”!». Не закрепившееся за мной мне в виде постоянной клички, это слово – «мозгач» – стало изредка применяться не в прямых обращениях ко мне, а в качестве шуточной добродушной характеристики с оттенком слегка насмешливого дружеского шаржа. После этого я окончательно почувствовал себя «своим».

Тем временем мои отношения с Борей Семенюком приняли несколько неожиданный для меня оборот. Помня о близости его матери с епископом Иоанном и узнав от семейных знакомых о том, что ее сын Борис прислуживал в православном соборе на праздничных богослужениях (хотя сам Боря об этом никогда не упоминал), я как-то употребил в разговоре с ним отдельные неоднократно слышанные словообороты с негативной оценкой революции в России, обычные в эмигрантской среде, ожидая найти сочувственный отклик. Ответом было длительное изложение как по заранее заученному тексту аргументов, утверждающих историческую необходимость русской революции и в конечном счете ее благотворность для нашей страны. В частности, Семенюк особо подчеркивал, что опыт неудачной для России Первой мировой войны

показывает, что царская армия не смогла бы выдержать удар самой мощной за всю человеческую историю военной машины немецкого вермахта. Многие из того, что говорил Семенюк, казалось мне сомнительным, но этот последний аргумент отвечал тому чувству гордости за нашу страну, ранее подвергавшейся лишь порицанию в эмигрантском мире, которое в последние месяцы я ощущал в себе и наблюдал в своих родителях и многих наших знакомых. Позже из разговоров с Игнатьевым и Зайцевым я узнал, что Семенюк слово в слово повторил доводы, которые слышал от них в их недавних горячих спорах, где он отстаивал прямо противоположные взгляды. Так я остался в неведении относительно подлинных убеждений Бори Семенюка, но стал с большим пониманием отмечать некоторую холодность в отношении к нему со стороны нашей маленькой группы.

Что же касается двух других ее членов, Игнатьева и Зайцева, то здесь была полная ясность: они открыто стояли на просоветских позициях. Свой общепризнанный в школе талант к рисованию они применили для умелого подражания карикатурам известного советского художника Бориса Ефимова из сатирического журнала «Крокодил», регулярно выставлявшегося, наряду с другими советскими изданиями, в книжном магазине Флита.

При всем сходстве общественных взглядов и живописных увлечений Зайцева и Игнатьева, более близкое знакомство с ними выявило существенное различие в их жизненных установках. Для Зайцева решающую роль играло мнение о нем окружающих. Он охотно выслушивал похвалы в свой адрес и сам готов был во всех подробностях обсуждать свои рисунки. Плохо переносил малейшие проявления невнимания и, особенно, неприязненного отношения к своей личности, что зачастую побуждало его «сочкаться» (т.е. вызывать на драку в пустыре за школьным забором своих, чаще мнимых, обидчиков). Не избежали этого искуса ни Семенюк, ни Ягненко, ни я. Иным был характер Юры Игнатьева. Он был крайне сдержан в самооценке и в разговорах о себе, давал взвешенные, объективные оценки и постоянно ратовал не столько за свои

личные, но за общие интересы. В конечном счете именно с ним у нас сложились наиболее прочные и близкие дружеские отношения.

По мере развития успешных военных действий Красной Армии на фронте антисоветские настроения в эмигрантской среде заметно сменялись чувством удовлетворения по поводу своей причастности к стране, героически сопротивляющейся страшному врагу, перед которым спасовали столь многие европейские державы, ранее кичившиеся своим превосходством над Россией. Широко и одобрительно комментировалось высказывание Черчилля в английском парламенте: «Советская Армия выпустила кишки из германской военной машины» (“The Soviet Army ripped the guts out of the German war machine”).

Многим русским в Шанхае советским консульством были выданы советские паспорта особого формата. В городе был открыт советский клуб, проводивший интенсивную культурно-просветительную работу. Был построен на скорую руку кинозал с бамбуковыми опорами и циновочным покрытием, пропускавшим во время проливных шанхайских ливней в нескольких местах потоки воды сверху, что не мешало собирать полные залы на просмотры фактически всех лучших советских фильмов. Думаю, что «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Небесный тихоход», «Александр Невский», «Иван Грозный» и актеры Любовь Орлова, Николай Крючков, Николай Черкасов пользовались в шанхайской эмиграции не меньшей известностью и популярностью, чем в самом Советском Союзе.

В субботние вечера все слушали по местному радио «Программу по заявкам слушателей», где исполнялись военные и народные русские песни, которые потом постоянно звучали на улицах и различных застольях. Отец утверждал, что жанр «Песни советских композиторов» представляет новое слово в музыкальном искусстве, продолжающее традицию русского романса и играющее не менее значимую роль в духовной консолидации нашего народа в годину испытаний, чем публицистические статьи Ильи Эренбурга или стихи

Константина Симонова. Он часто противопоставлял художественную глубину и задушевность особенно любимой им песни «Темная ночь» с пустым американским военным шлягером «Нашел я чудный кабачок, Вино там стоит пяточок», говоря, что ни англосаксонская военная песня, ни, тем более, немецкая, не создали ничего подобного русскому песенному творчеству военных лет, составляющему самостоятельную главу мировой музыкальной культуры, ждущую своего исследователя. Он считал, что композитор Дунаевский внес такой же решающий вклад в нашу победу, как маршал Жуков.

Большой популярностью пользовалось советское документальное кино. Так, в документальном фильме «Сталинград» особенно сильное впечатление на всех шанхайских зрителей произвела сцена, где для предотвращения снабжения уже окруженной немецкой армии с воздуха был использован следующий своеобразный способ ведения зенитного огня. Обширный участок земли на решающем направлении был заставлен до самого горизонта зенитными орудиями, которые с синхронной согласованностью посылали в небо единый сплошной огненный заслон, через который из целой флотилии могли пробиться лишь отдельные вражеские самолеты. Поражал воображение масштаб хорошо организованной обороны.

Один из документальных фильмов был посвящен подбору концертных номеров, показывающих, что нормальная культурная жизнь страны продолжалась, несмотря на все военные невзгоды. В заключение программы был показан продолжительный отрывок из Седьмой, «Ленинградской» симфонии Шостаковича в исполнении Ленинградского оркестра под управлением Евгения Мравинского. Многих поразило нестандартный стиль дирижирования Мравинского, который как бы выхватывал из общего звукового контекста отдельные элементы гармонии, концентрируя внимание слушателей на полифонической многослойности знаменитого музыкального произведения. Отец с жаром доказывал, что механически отбивать музыкальный ритм способен любой человек с мало-мальски развитым слухом и что Мравинский

как выдающийся дирижер ставил перед собой более сложную задачу: вскрыть глубинную гармоническую структуру исполняемой симфонии.

Эти рассуждения были слишком сложными для моего восприятия, но я вспомнил недавно прочитанные военные воспоминания одного из немецких солдат, слушавших по радио и по специально расставленным с советской стороны фронтовой линии громкоговорителям первое исполнение симфонии из осажденного, скованного холодом и голодом Ленинграда. В какой-то момент неким глубинным внутренним чувством он понял, что Германия проиграла развязанную ею войну.

День капитуляции нацистской Германии был встречен в шанхайской эмиграции почти как престольный праздник. Знакомые и незнакомые друг другу люди христосовались на улице. Даже носители самых непреклонно антисоветских взглядов не нарушали всеобщего ликования. Толпы американских матросов с пришвартованных к причалам реки Вампу военных кораблей запрудили город, в мгновение ока покрывшийся несметным количеством новоиспеченных баров и закусочных-бистро. Стиль жизни и внешний вид Шанхая изменился. Улицы осветились яркими огнями, броскими, красочными витринами магазинов, рекламными вывесками открывающихся как грибы иностранных фирм, к обслуживанию которых и новой концессионной администрации ринулось местное население. В языке замелькали неологизмы: «фапи» и «голды» (единицы китайской и американской валюты), «аффейдевиты» (нотариально оформленные документы), «джипы» и т.п. Отец весьма настороженно относился к этому наплыву американской потребительской цивилизации.

Наше повзрослевшее молодое поколение, напротив, живо откликнулось на эти новшества. В частности, среди моих уличных друзей началось повальное увлечение голливудским кино, заполонившим все городские кинозалы, в том числе соседний с нашей улицей кинотеатр «Думер», в котором шли вторым экраном по сниженной цене за билеты преимущественно американские



фильмы. На первых порах самыми популярными в нашей детской среде были актеры Эрл Флин и Джеймс Кагни, снимавшиеся в приключенческих фильмах в роли положительных героев. У первого был свой стандартный «антигерой-злодей» – Базил Ратбоун, у второго – Хэмфри Богарт Изредка показываемые французские картины с Жаном Габеном не привлекали особого внимания ни у нас, ни у взрослых. Позднее на первое место вышел Кларк Гейбл в более сложных романтических ролях, с «нищеспанским» (как я определил для себя впоследствии) оттенком «сильного человека». Весьма неожиданным для меня было прочесть в специальном киножурнале о его позднейшей конкуренции за симпатии американской зрительской аудитории с Богартом и постепенной утрате прежнего ореола эталонного «сильного мужчины». По моим соображениям, переломным моментом явился фильм «Унесенное ветром», где он сыграл одну из своих наиболее известных ролей Ретта Батлера в своем обычном стиле, за исключением того, что ведущий образ был здесь сыгран женской актрисой Вивиен Ли, переигравшей Гейбла в его собственном амплуа «сильного человека», подчиняющего себе внешние обстоятельства и окружающих людей, не взирая ни на какие препятствия. Не случайно, казалось мне, Гейбл долго отказывался от этой столь престижной в карьерном отношении, но противоречащей его внутренней самооценке роли и согласился на нее только по настоятельному требованию режиссера. Весьма симптоматична последняя в жизни Кларка Гейбла роль в паре с Мэрилин Монро, где оба знаменитых киноактера воплощают в несвойственном их прежнему стилю образы подчеркнута «обычных», не претендующих на какую-либо особую исключительность людей. Отголосок прежнего Гейбла представлен в фильме в его заключительной сцене укрощения дикого коня, подробно заснятой в режиме “live”, в живом исполнении самого актера без какого-либо дубляжа. Эта сцена, по-видимому, стоила Гейблу такого напряжения физических сил, что он в скором времени скончался.

С другой стороны, Хэмфри Богарт столь же постепенно сменил свое амплуа «злодея» на роль положительного героя, сохранив при этом многие

черты прежнего образа человека безжалостного, «себе на уме», не дающего себя обмануть сентиментальными побуждениями, четко сознающего свои личные интересы и выражающего их с лаконичной откровенностью, лишенной каких-либо словоизлияний в романтическом духе («Мальтийский сокол»). В результате в послевоенную эпоху Богарт создал симптоматический для американского массового менталитета образ самодостаточного человека в духе Хемингуэя («Иметь и не иметь», «Касабланка»), рассчитывающего в основном на собственные силы в достижении конкретных целей, адекватных его земной, чуждой всякой идеализации природе. Эта оценочная метаморфоза казалась мне необоснованной и недостаточно убедительной, и прежний облик Богарта-«злодея» продолжал довлеть над восприятием его новых образов. Так, другой прописной негативный персонаж Голливуда – Базил Ратбоун, противопоставленный в предвоенные годы положительному герою Эрлу Флину, позднее заснял в целой серии фильмов в образе Шерлока Холмса. Аналогичную, хотя и несколько менее отчетливо выраженную эволюцию, претерпел актер Клод Рейнс.

Как я осознал позднее, перекодирование отрицательных образов в положительном плане, показательное для голливудского кино, служило симптомом начавшегося после второй мировой войны коренного переосмысления традиционных критериев добра и зла в американском и западноевропейском менталитете, что составляет одну из характерных особенностей современного постмодернизма. Таким образом, в первые послевоенные годы я начал, пока еще смутно, осознавать, что англосаксонская модель мира, как ее называл отец, в контексте которой до сих пор в основном происходило формирование моей личности, является в своем американизированном варианте внутренне противоречивой, содержит в самой себе принципы своего самоотрицания и все более явственно не согласуется с тем *отнеа теа*, которое, как я чувствовал, произрастало во мне.

Это ощущение усилилось под воздействием другого, помимо «акшн»-фильмов, жанра голливудского кино. Значительное влияние на становление моего психологического строя оказали музыкальные драмы с актерами-певцами Джанет Макдоналд и Нэлсоном Эдди, обладавшими прекрасными голосами и высоким профессиональным мастерством. Это были единственные исконно американские (не приглашенные из Европы) певцы, способные вести в фильме длительные недублированные оперные партии. Так, в фильме «Майское время» (“Maytime”), поставленном по мотивам из русской дореволюционной жизни, они исполнили переложенную на человеческие голоса вторую часть Пятой симфонии Чайковского. Особым почитанием у меня пользовался низкий баритон Нэлсона Эдди с мощным бархатисто-металлическим, колоколообразным звучанием. К моему удивлению, в специальных киножурналах эти замечательные певцы фактически не упоминались, тогда как Бингу Кросби и Франку Синатре, с их приятными, но казавшимися мне заурядными речитативными «полуголосами» в стиле «крюнинг» (“crooning”), посвящались целые страницы восторженных отзывов. Но по крайней мере эти эстрадные исполнители не оскорбляли моего эстетического чувства, в отличие от все более размножавшихся певцов и танцоров, добывающих себе сомнительную известность и славу различного рода эксцентризмами на сцене. Как раз в это время мне купили пианино и я увлеченно, по нескольку часов в день, занимался музыкой, разучивая технически несложные произведения популярного классического репертуара типа «Вечерней серенады» Шуберта. Это давало мне определенный критерий для сравнения, и я стал четко противопоставлять «подлинное» искусство различным подделкам под него, к которым весьма безапелляционно относил значительную часть потребительской культуры того времени.

Постепенно, незаметно для меня, через ряд промежуточных ассоциаций и под влиянием отцовских бесед это противопоставление «подлинного» и «искусственного» слилось в моем представлении с противоборством исконно-русского и англосаксонского духовных начал. Иными словами, я стал

воспринимать русское искусство как сохранение и развитие тех самых эстетических принципов, которые все в большей степени отрицались на Западе.

Знаменательным событием в культурной жизни города был приезд в Шанхай из Харбина известного музыканта Олега Лундстрема. Руководимый им джазовый оркестр регулярно давал концерты в единственном большом городском театральном зале «Лайсеум». Часто исполнялись джазовые вариации на темы советских песен. Особой популярностью пользовалась джазовая сюита по мотивам «Молодежной песни» из фильма «Волга-Волга». Отец обнаружил, что эта «задористая» песня представляла собой творческую переработку в убыстренном темпе известной народной песни «По Дону гуляет казак молодой». В доказательство он виртуозно исполнял одновременно оба мотива на пианино или аккордеоне, «По Дону гуляет» – левой рукой тяжелыми басовыми аккордами, «Молодежную» – правой рукой с различными вариациями в искристо-танцевальном стиле. Он восхищался подобным творческим преобразованием, считая его верхом музыкального искусства композитора.

Укрепление русского начала получило в эмигрантской среде весомую материальную поддержку через организацию по соборной инициативе русской общности «Советского спортивного клуба» («ССК»). Видную руководящую роль в его создании сыграл Олег Лундстрем.

Активное участие во всех подготовительных работах принял, в соответствии со своим ярко выраженным общественным темпераментом, Юра Игнатъев. Через него в скором времени я стал его постоянным членом. Основным видом спорта, культивируемым в ССК, был не футбол, а волейбол. Именно здесь я увлекся этой спортивной игрой, верность которой сохранил на протяжении всей последующей жизни. Виртуозом волейбола и ведущим спортсменом ССК, всеобщим любимцем был Жора Зверев. Однажды в спортивном зале YMCA (“Young Men’s Christian Association” – «Христианская Ассоциация Молодых Людей») были устроены многодневные волейбольные

соревнования с участием местной команды и трех команд ССК. Событие вызвало живой интерес спортивной общественности и закончилось триумфом русских команд, оставивших далеко позади иностранную. Мне довелось случайно услышать ремарку одного из зрителей: «Можешь ли ты представить этих парней объединенными?» (“Can you imagine these guys united?”). Впоследствии я часто вспоминал эти слова при своих размышлениях о русской истории.

В ответ на эту спортивную встречу было устроено соревнование легкоатлетических сборных YMCA и ССК на нашей территории. Соревнование проходило в доброжелательной атмосфере с переменным успехом для обеих команд. На основной номер программы – спринт на стометровую дистанцию – ССК выставил одного спортсмена – Жору Зверева, против трех бегунов YMCA. Когда раздался стартовый выстрел, Зверев рванулся вперед. Спортсмены YMCA (по-видимому, заранее уведомленные о неоспоримом преимуществе Зверева) демонстративно медленным шагом двинулись вперед, показывая свое безразличие к исходу поединка. Стадион разразился бурей свиста. Зверев в недоумении обернулся и, в свою очередь, тоже шагом пришел первым к финишу. Спортивных встреч двух команд больше не было.

В начале 1946 году наша американская тетьа Леля начала хлопотать о переезде бабушки и тети Тани с мужем в Сан-Франциско. Через несколько месяцев документы были оформлены, и они благополучно уехали. Дядя Дима поступил на работу маляром, и они начали понемногу обустраиваться. Встал вопрос и о переезде нашей семьи в Америку. Началась длительная процедура оформления соответствующих документов. Я уже представлял себя студентом санфранцисского университета.

В это время отец принял одно из характерных для него «крутых» решений. В связи с открывшейся перспективой нашего переезда в Америку, он счел целесообразным, чтобы я получил какой-либо авторитетный англоязычный диплом. Сочтя, что я в достаточной мере соприкоснулся с

французским языком и культурой в эколь Реми, он предложил мне попытаться поступить в только что открывшуюся «Шанхайскую Британскую Школу» (“Shanghai British School”) для английских детей, недавно освободившихся вместе со своими родителями из японского концентрационного лагеря в Путунге. Отца особенно привлекала приписка “Junior Cambridge”, говорившее о связи школы со знаменитым английским университетом. Я выдержал вступительные экзамены и был зачислен сразу в шестой, выпускной класс школы, приступив к занятиям 1-го февраля 1946 года.

4. Shanghai British School. Я был подготовлен к этой новой, третьей смене своей ученической среды интенсивным чтением в последние два года английской литературы по мотивам школьной жизни. По страницам популярного школьного журнала “Magnet” я был заочно знаком со всеми особенностями английских “public schools”, не всегда совпадавшими с моим нынешним школьным опытом. Так, из своего чтения я усвоил ряд характерных выражений типа “Hear! Hear!” (“Слушайте! Слушайте!”) в значении всеобщего одобрения слов говорящего. Однако когда я попробовал употребить данный оборот речи в соответствующей ситуации, то встретил недоуменное непонимание. Оказалась незнакомой моим нынешним собеседникам и поговорка “Enough is as good as a feast” («Достаточное – не хуже целого пиршества»).

В отличие от классических *public schools* моя новая школа, как и эколь Реми, была смешанной, с учениками обоих полов. Наряду с англичанами в ней обучались дети различных национальностей, в их числе несколько китайцев, двое русских (вторым, кроме меня, был Голубцов, по прозвищу «Гуги»), грек Спиро Карас, сочинитель сатирических стихов и устроитель различных сценических представлений, ирландец Патрик Суини, пользующийся известностью во всей школе благодаря своей незаурядной физической силе. Среди своих новых одноклассников я встретил и вскоре близко сошелся со

знакомым мне еще по первому классу Жанны д'Арк Вильямом Спенсером, страдавшим хромотой юношей с открытым приветливым характером.

Другое отличие нашей школы от стандартных *public schools* состояло в отсутствии статуса *headboy*, официально признанного «главным учеником» школы по своим успехам в учебе и на спортивном поприще, пользовавшегося особым уважением преподавателей и учащихся и служившего своего рода посредником между школьной администрацией и ученическим сообществом. Впрочем, в неофициальном плане весьма близко соответствовал этой роли невысокого роста, худощавый Алан Мадар, весьма смущенный, скромный, выдержанный юноша, лучший футболист, которого мне довелось встречать в мои молодые годы среди своих сверстников. У меня сложились ровные, дружеские отношения с одноклассниками, несколько осложнявшиеся неспособностью некоторых из них правильно выговорить мою фамилию, произносимую ими с очевидными артикуляционными усилиями как нечто вроде «Старвински»; в результате они предпочитали просто называть меня «Джордж».

Из учительского состава наибольшим влиянием в классе пользовался преподаватель английского языка мистер Руд, типичный (в моем представлении) англичанин, слегка ироничный, с безусловно правильной, размеренной речью, всегда находящий нужное слово для выражения своей мысли, владеющий неослабевающим вниманием класса на всем протяжении урока. Однажды он попросил меня дать определение слова «трагедия». Я ответил: «драма». Он на мгновение задумался, затем удовлетворенно кивнул головой. Значительно позже, работая над темой «греческая трагедия», я осознал недостаточность данного мною определения.

Когда в школе, наряду с футболом, стал культивироваться волейбол, мне сослужил хорошую службу опыт, приобретенный в ССК, благодаря которому я стал одним из лучших игроков школы в этом новом здесь виде спорта.

Непосредственное близкое знакомство с английским восприятием современного мира выявило несколько удивившую меня противопоставленность британской и американской составляющих казавшегося ранее единым англосаксонского менталитета. Не скрывавшееся мистером Рудом ироническое отношение к американскому образу жизни находило проявление преимущественно в языковом плане. Услышав однажды в ответе ученика американизированное произношение “*yeah*” вместо “*yes*”, он спросил со свойственной ему саркастической интонацией: «Вы не катались в последнее время в джипе, Томас?». Один из учащихся, Джордж Гудйир, часто рассказывал о своем пребывании в японском концлагере для военнопленных, противопоставляя друг другу поведение пленных англичан и американцев. Англичане, по его словам, устраивали в лагере различные обструкции охранникам, совершали побег, за что постоянно подвергались наказаниям, вплоть до расстрелов. «Но все-таки что-то делали, хотя бы пытались бежать, – говорил он. – Американцы же сидели смирно, и ничего подобного не предпринимали». Подобные рассуждения свидетельствовали о наличии определенной трещины во внешне консолидированном англосаксонском блоке.

В конце 1946 года состоялись выпускные экзамены. Я закончил школу по высшему разряду “*grade A*” в числе шести учеников, включая еще одного русского, (аттестат об окончании *Cambridge Junior* я сохранил до настоящего времени). Чувство удовлетворения от успешного выполнения задачи, поставленной передо мной отцом, было омрачено лишь тем, что мой друг Вили Спенсер не выдержал выпускных экзаменов. Его дальнейшая судьба, как и остальных моих одноклассников, мне неизвестна.

После моего окончания *British school* я неожиданно для себя оказался «не у дел», в полной неопределенности относительно моих дальнейших жизненных перспектив. Мне было шестнадцать с половиной лет, самое время определиться со своим будущим. Между тем, никаких ясных планов на этот счет у меня не



было. Я приобрел вкус к учебе и интеллектуальной деятельности, но никаких возможностей продолжать образование не было видно.

Отец, по-видимому, предполагал, что я продолжу его типографское дело, азы которого я освоил за последние два-три года, помогая своим родителям и единственному нанимаемому нами периодически работнику, молодому, но уже чрезвычайно умелому китайцу, Чи-Чи-Ни. Я уже научился вручную набирать короткие тексты и печатать их на недавно купленной машине-«бастонке», но не испытывал особого призвание к профессии типографщика и был признателен отцу, что он не поднимал вопроса о способе моего дальнейшего существования.

Однажды я был послан с заказом в местную мастерскую по изготовлению шрифтов. Пока я ждал его выполнения, я стал наблюдать за работавшим рядом китайцем и был поражен филигранной точностью («артистизмом», подумал я) его действий. Он вручную вырезал резцом на шрифтинке-болванке китайские иероглифы. Его работа не допускала ни малейшей неточности: никакая ошибка не могла быть исправлена, испорченная болванка подлежала немедленному выбрасыванию в утиль. Трудность задачи усугублялась тем, что при всей сложности структуры иероглифа необходимо было безошибочно зафиксировать на шрифтинке ее зеркальное отображение. За время моего наблюдения резчик изготовил несколько шрифтинок, не допустив ни единой ошибки. Мне вспомнилось наблюдение мамы об «аристократическом изяществе» строения рук каждого второго простого китайца, и я представил себе, какую мощную квалифицированную рабочую силу являют собой десятки и сотни миллионов таких виртуозных рук, рассыпанных по необозрим городам и деревням Китая!

Вскоре после моего окончания школы неожиданно для всех вышло постановление советского правительства о репатриации всех русских граждан, желающих вернуться на родину.

Перед нашей семьей встал вопрос: Советский Союз или Америка? На семейном совете родители заявили, что поскольку речь идет обо всем моем

будущем, окончательное решение за мной. Я до сих пор с удивлением вспоминаю, насколько просто и естественно, как бы самим собой, ответ мгновенно сформировался в моем сознании. Если прежде несравненно менее существенные для меня возникающие проблемы зачастую порождали длительные гамлетовские размышления, сопряженные с сомнениями, взвешиванием потенциальных последствий альтернативных вариантов решения, в этот критический, переломный момент своей жизни я, не задумываясь, сказал: «Хочу в Россию». По-видимому, этот ответ соответствовал внутренней установке родителей, и на этом обсуждение вопроса, затрагивающего грядущие судьбы всей нашей семьи, завершилось. Решение было принято без лишних слов, единогласно и бесповоротно.

Это решение в корне изменило нашу жизнь в последующие полгода, поставив перед нами ряд конкретных задач практического порядка. Основная из них состояла в том, как нам распорядиться своей типографией. Весть о предстоящем переселении значительной части эмигрантского общества быстро распространилась по Шанхаю, вызвав значительный ажиотаж как в готовящейся к отъезду, так и в остальной части населения. Отъезжающие, владеющие имуществом, мало пригодным для транспортировки, бросились продавать его, чем вызвали резкое снижение цен в городе. Эта девальвация с особой силой сказалась на таком нестандартном товаре, как печатные машины и шрифты.

В этой ситуации отец принял в высшей степени характерное для него как русского интеллигента решение. К удивлению наших знакомых иностранцев, воспринявших его как непонятное «русское чудачество», он заявил, что вместо того, чтобы продавать по бросовой цене нашу нажитую многолетним трудом типографию, он предпочитает принести ее в дар своей стране и своему народу, чтобы вернуться на родину не с пустыми руками. Это решение поставило перед нашей семьей новую проблему, незнакомую другим отъезжающим. Помимо забот по обеспечению себя теплой одеждой и другими предметами первой

бытовой необходимости, мы должны были взять на себя дополнительные расходы и усилия по упаковке типографского инвентаря, подготовке его к столь дальнему путешествию.

Для перевозки репатриантов из Шанхая в Советский Союз был выделен теплоход «Н.В. Гоголь». В эмигрантской среде получила распространение следующая шутка: «За кем приплыл пароход Гоголь? – За Мертвыми душами». Наша семья попала в четвертую, предпоследнюю очередь репатриантов. Отплытие было назначено на 6 ноября. К счастью, с утра этого дня выдался недождливый, ясный день. Теплоход причалил к узкому отрезку набережной Вампу, заполнившемуся отъезжающими и провожающими. Меня пришел провожать один Юра Игнатьев.

Мы поднялись по трапу на борт и столпились на палубе, лицом к городу, к которому я вдруг почувствовал никогда не испытанную ранее острую ностальгию. Чтобы как-то отвлечься от нарастающего во мне тревожного ожидания, я стал всматриваться в лица изредка проходящих мимо матросов, впервые встречаемых в моей жизни «настоящих» советских людей, не находя в их чертах ничего особенного, отличающего их от привычного мне русского эмигрантского облика. Время от времени они перебрасывались вполне понятными мне короткими фразами на обычном русском языке. Это почему-то снизило мое внутреннее напряжение.

Внезапно я почувствовал дрожание палубы под ногами. Заработали двигатели теплохода. Я подумал, что это дрожание палубы будет сопровождать нас в течение всего переезда в новый, незнакомый мир. Наступал решающий момент отплытия. И тут щемящее ощущение непреклонно приближающегося расставания со знакомым мне с детских лет миром с новой силой охватило меня. Я живо ощутил эмоциональный подтекст вспомнившихся стихов Байрона, заученных когда-то без особого проникновения в трагический смысл мотива «навсегда»:

Fare thee well, and if forever,  
Then forever fare thee well.

Наплыв произвольных, отрывочных воспоминаний, как будто ждавших своего часа, с необычайной яркостью и наглядностью прорвался в моем сознании. Всплыла в памяти в новом осмыслении слышанная в детстве по местному радио, давно забытая песня:

Wish me luck as you wave me goodbye,  
With a cheer, not a tear in your eye.

Внезапно работающие двигатели изменили тональность своего звучания, и узкая полоска воды между теплоходом и причалом стала постепенно расширяться. Наше путешествие в будущее стартовало. Я быстро нашел взглядом фигуру Юры Игнатьева, стоявшего у самой кромки воды и усиленно махавшего мне рукой. Таким образом, последним впечатлением, которое я вынес при расставании с медленно удаляющимся из поля зрения шанхайским прошлым, был Ягненок с его непокорным чубом, машущий мне рукой на прощание. Не мог я тогда предвидеть, что он через несколько лет также приедет в Советский Союз с женой, поселится в Ташкенте и успешно проявит себя в журналистике.

По мере удаления от Шанхая люди, стоявшие на причале, слились в единую массу, и я с трудом стал различать лишь общие контуры многометровой статуи ангела, воздвигнутой на набережной в память неисчислимым жертвам первой мировой войны (и второй, мысленно добавил я). Равномерное движение теплохода постепенно утихомирило мое нервное возбуждение, и я попытался спокойно подумать о предстоящем нашей семье будущем. По издавна установившейся привычке, я интуитивно стремился облечь свои размышления в литературные образы. Своеобразным эпиграфом к моим мыслям о стране, с которой отныне была бесповоротно связана судьба нашей семьи, в моем сознании звучали пушкинские строки, обозначающие пределы беспредельной России:

От Перми до Тавриды,  
От финских хладных скал  
До пламенной Колхиды,  
От потрясенного Кремля  
До стен недвижимого Китая...

Под влиянием всего перечувствованного в этот знаменательный день, последние две строки претерпели в моем представлении определенную перестановку, соответствующую переживаемому моменту:

«От стен недвижимого Китая // До потрясенного Кремля».

Если бы я только мог хотя бы отдаленно предвидеть, какую значимость в моей дальнейшей жизни обретут почти все географические наименования, начиная с «Перми», упоминаемые Пушкиным!

К концу дня наш теплоход минул форт Ву Зунг, охранявший Шанхай со стороны моря, и приблизился к устью реки Вампу. Берега реки стали удаляться друг от друга и вскоре вовсе скрылись из вида. Теплоход вышел в открытое море. Ветер и качка заметно усилились. Вглядываясь в открывшийся со всех сторон бескрайний колышущийся водный простор, я воочию убедился в шарообразности земли, почти на ощупь осязая изгиб земного шара по ту сторону горизонта, таящего за собой неопределенность открывающегося передо мной будущего.

## **Часть вторая. ГОРОД НА КАМЕ**

*«От Перми до Тавриды...»*

8-го декабря 1947 года наша семья в составе четвертой партии репатриантов выехала на борту теплохода «Н. В. Гоголь» из Шанхая на Родину.

*1) Порт «Находка».* На пятый день плавания «Н. В. Гоголь» прибыл в порт «Находка», недалеко от Владивостока. Мы все с нетерпением ждали первой встречи с родной незнакомой землей и ее обитателями, рисовавшимися нам в нашем воображении людьми какой-то особой породы, живущими отличными от наших, возвышенными интересами, связанными с воспоминаниями о великой войне и о своем недавнем ратном подвиге. Поэтому выявившаяся вскоре всеобщая поглощенность населения Находки самыми повседневными житейскими заботами и их явная неготовность поддерживать в отвлеченно-приподнятых тонах разговоры об историческом значении победы над фашизмом, какие стремился завязать с ними отец, поначалу несколько озадачили его, но через определенное время способствовало тому, что мы почувствовали себя на равной ноге с местными жителями, как будто съели с ними не один пуд соли.

Удручающее впечатление на нас с мамой произвела встреча на улице с безногим инвалидом в каталке; мы молча остановились на месте, не зная, как должным образом реагировать на это трагическое напоминание о недавней войне. Мы долго не могли свыкнуться с видом изувеченных войной людьми, к которому местные обитатели относились как к чему-то прискорбному, но привычному.

В Находке мы пробыли около месяца, дождавшись за это время следующей, пятой (и, как выяснилось впоследствии, последней) очередью шанхайской эмиграции, которую встретили как старожилов. За этот месяц наша семья успела сблизиться с некоторыми шанхайцами, с которыми не была даже знакома прежде. Особо сдружились мы с Ксенией Прокофьевной и Юрием

Михайловичем Усольцевыми. Юрий Михайлович рассказывал, что он во время революции служил офицером на «том самом» знаменитом крейсере Аврора.

Нам предложили для поселения ряд сибирских городов от Кемерово до Молотова (как тогда называлась Пермь). Я тотчас вспомнил пушкинское «от Перми до Тавриды» и поэтому охотно поддержал отца, когда он предложил выбрать этот город как наиболее западный в предложенном списке. Началась подготовка к отъезду. Тут выявилось одно затруднение, связанное с нашей типографией, составлявшей наиболее громоздкую, трудную для транспортировки часть нашего багажа. Грузить ее на поезд предстояло силами самих отъезжающих. Уже при погрузке на «Н.В. Гоголь» в Шанхае слышны были недовольные голоса; теперь они звучали с удвоенной силой. Я уже с тревогой задумывался о том, как мы будем разгружать типографию в Молотове, конечном пункте нашего пути, при значительно поредевшем составе поезда, когда практически мало к кому будет обратиться за помощью.

Не знаю, как бы разрешилось это затруднение, если бы кто-то из официальных лиц Находки не предложил отправить типографию во Владивосток, выделив для этого местных грузчиков. Отец согласился. Нам выдали на клочке бумаги расписку, что такого-то числа от Сильницкого Г. А. принята типография в количестве стольких-то печатных машин и наборов шрифтов для отправки во Владивосток. Эта расписка была впоследствии утеряна нами. Так плод многолетних тяжелых трудов нашей семьи был в мгновение ока безвозвратно утрачен. Впоследствии я не слышал от родителей ни единого сожаления или упрека по поводу этой утраты, возможно, потому, что, в конце концов, так или иначе замысел отца осуществился и типография дошла до своего назначения.

За несколько дней до отъезда мы узнали, что Ксения Прокофьевна Усольцева получила приглашение на работу в находкинский Клуб моряков и они с Юрием Михайловичем остаются на постоянное жительство в Находке. По контрасту с трудностью устройства на работу в Шанхае всех поразила легкость,

с которой удалось это осуществить в Советском Союзе. Так, еще не тронувшись с места мы испытали первое свое расставание в своей новой жизни.

Поездка в теплушках через всю Сибирь заняла у нас чуть меньше трех недель. 3-го января 1948 г. в морозное ясное утро наш эшелон прибыл в Молотов. Начальник поезда сообщил, что «через два часа состав отправляется в конечный пункт своего назначения, районный центр Березники. Оказалось, к нашему разочарованию, что нам предстояло обосноваться не в крупном областном центре, как остальным репатриантам, высадившемся на предыдущих этапах нашего путешествия через Сибирь, а в каком-то глубинном городке, неизвестном никому из наших попутчиков. Двое из ехавших в одной теплушке с нами, тромбонист Шевчук и кларнетист Соболев, были профессиональными музыкантами, заранее согласовавшими свое поступление на работу в Молотовский Оперный театр, представительница которого встретила их на вокзале с грузовой машиной и способствовала их высадке и отъезду в город».

Тут отец принял одно из своих наиболее судьбоносных для нашей семьи решений: он велел нам выгружаться прямо на перрон.

С помощью немногочисленных оставшихся в поезде попутчиков мы с трудом спустили свои чемоданы на землю; больше всего нам доставило хлопот пианино. Невольно мелькнул в мыслях вопрос о том, что бы мы делали, если бы были дополнительно ко всему обременены непомерным грузом типографии, С замиранием сердца я проводил взглядом медленно тронувшийся с места и исчезнувший за поворотом железнодорожных путей наш эшелон, ставший вдруг самым дорогим и близким.

Я до сих пор не перестаю удивляться смелостью этого отцовского решения, Мы оказались совершенно одни, в тридцатиградусный мороз, без единого знакомого человека в чужом городе, без каких-либо определенных перспектив на будущее. Впоследствии я в полной мере осознал, какую решающую роль во всей моей последующей жизни сыграло то обстоятельство,



что мы начали нашу новую жизнь не в глухой глубинке, а в областном центре, университетском городе с интенсивной культурной жизнью.

Отец велел нам с матерью остаться на перроне и сторожить вещи, а сам отправился в город на разведку. Он отсутствовал около часа, показавшегося мне самым длительным в моей жизни. Вернувшись, он огорошил нас известием, что он купил дом. Оказалось, что он случайно познакомился с какой-то женщиной, жившей по близости и продававшей дом, узнал от нее, что сумма денег от продажи нашего пианино будет достаточной, чтобы расплатиться, и уже договорился с водителем вокзальной грузовой машины и грузчиками, чтобы переехать. Так, не успев оглянуться на новом месте, мы стали домовладельцами.

Наш новоявленный район, вполне оправдывавший свое наименование «Нахаловки», был расположен на самой окраине Молотова, в непосредственной близости к большому железнодорожному мосту через реку Каму, связывавшему город и все Приуралье с европейской частью России. Весь район был застроен одноэтажными обветшалыми деревянными зданиями, и слово «дом» применительно к нашему только что приобретенному жилью звучало как сильно приукрашенное преувеличение. Однако никогда прежде я не испытывал такого глубокого удовлетворения от чувства крыши над головой, как вечером того дня, засыпая под стук колес поездов, проходящих, казалось, у самого нашего порога.

Утром я отправился на первую свою ознакомительную прогулку. Выйдя к мосту, я долго созерцал его массивные каменные опоры, составлявшие с близкого расстояния резкий контраст своей монументальностью с покосившимися, почерневшими от времени строениями на берегу, размышляя о символичности этого контраста между грандиозностью строительства нового и наследием ветхого прошлого в современной России... Внезапно раздался резкий окрик. Ко мне подошел человек в военной форме и раздраженно сказал, что прилегающая к мосту зона является запретной для частных лиц и я подлежу

оштрафованию за нарушение закона. Я стал объяснять, что лишь накануне приехал на жительство в Молотов и еще не успел ознакомиться с местными законами. Он перебил меня, спросив, где и у кого я остановился, и затем отпустил меня, велев впредь не приближаться к мосту ближе положенного расстояния. Я с некоторым удивлением отметил, что этот инцидент не только не выбил меня из колеи, но наоборот, утвердил меня в чувстве, что я действительно стал «своим» в новой среде и должен отныне подчиняться новым правилам поведения и принять на себя новые обязательства.

В последующие несколько дней при нашей попытке оформить свою покупку выявилось два неожиданных затруднения. Во-первых, оказалось не так просто продать пианино. Во-вторых, возникли определенные затруднения с юридическим оформлением продажи дома. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы по прошествии около недели с небольшим отец не вернулся однажды в сильном возбуждении из города и не сообщил, что он случайно встретил знакомого по Шанхаю музыканта, Вахромова, приехавшего в Советский Союз с одной из предыдущих очередей репатриантов, и тот пригласил его на работу в оркестр одного из городских клубов с предоставлением временного жилья в здании клуба. Мы щедро расплатились с нашими несостоявшимися продавцами недвижимого имущества и переехали на новое местожительства.

В клубе им. Толмачева, расположенном в центральном районе Молотова, нам выделили небольшую комнату, где хранились музыкальные инструменты и которая до позднего вечера была полна людьми, так что мы обретали тишину и спокойствие лишь перед самым сном. В отличие от мамы, отца это не слишком удручало благодаря его общительному темпераменту. Понемногу стал налаживаться наш непритязательный быт. Я начал осваивать особенности своего нового местопребывания.

Лицо города Молотова (древней Перми) определяется его расположением на левом берегу великой реки Камы. В окрестностях города

течение реки в основном принимает почти перпендикулярную направленность с севера на юг, задающее пространственную ориентацию двух центральных городских магистралей и города в целом. Одна из них, улица Ленина, расположена параллельно Каме в трех кварталах от нее и делит город на две продольных части, прилегающей к реке и более удаленной от нее. В середине города улица Ленина пересекается под прямым углом с проспектом Карла Маркса, открывающим прямолинейную мысленную перспективу через всю Сибирь вплоть до Тихого Океана, то есть представляющим продолжение недавно пройденного нами пути от Находки до Перми. Таким образом, проспект Карла Маркса постоянно ассоциировался в моем подсознании с дорогой, ведущей в прошлое, тогда как вид, открывающийся в западном направлении с высокого берега Камы, символизировал туманное, но манящее будущее. Это будущее слилось в моем воображении со зрительным образом единственного знакомого мне созвездия Большой Медведицы, легко различимого мной на небосводе над Камой.

В последующие несколько месяцев образ Камы прочно вошел в состав моего сознания, восполнив некий унаследованный из шанхайской жизни духовный вакуум, определяемый дефицитом полноценного общения с природой. Настоятельной потребностью для меня стали ежедневные длительные прогулки по набережной вдоль Камы, во время которых я ощущал, как какие-то прежде атрофированные клеточки моей души наливались жизнью и распрямлялись навстречу открывающимся взору беспредельным камским просторам.

На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ленина был городской сквер, в глубине которого возвышался Молотовский Театр оперы и балета. Шанхай дал мне самое поверхностное и отрывочное знакомство с классическим музыкальным искусством по изредка звучавшим по радио оперным ариям и оркестровым произведениям, слушание которых неизменно сопровождалось острым чувством сожаления, что испытываемое наслаждение является

временным, через несколько секунд обреченное на исчезновение и что нет в мире силы остановить, продлить, увековечить прекрасное мгновение. В этом смысле музыка, в отличие от поэзии, навеки воплотившейся в слове, олицетворяла для меня противоречивость бытия, сочетающую несказанную красоту с текучестью и недолговечностью, незащищенностью от неумолимой поступи времени. Теперь же я получал возможность по своему изволению выбирать из широкого репертуара театра музыкальные произведения, известные мне ранее лишь по их названию и по имени создавших их композиторов. Цена дешевых билетов на балконе была вполне доступной, в кассовом зале не было никакой очереди, и я мог спокойно запасаться билетами на несколько дней вперед. Именно в течение этого первого моего года в Молотове я познакомился с наиболее популярными операми Чайковского, Глинки, Верди и Бизе. Это побудило меня возобновить многочасовые занятия на пианино и аккордеоне, привезенные нами из Шанхая.

Однажды я прочитал на улице большое объявление о наборе в июле на первый курс Молотовского госуниверситета им. Горького и увидел в этом разрешение вопроса о моем будущем. Заручившись нотариально заверенной копией аттестата Junior Cambridge и его переводом на русский язык, я явился в приемную комиссию университета с вопросом, может ли он служить заменой советскому аттестату зрелости. Получив утвердительный ответ женщины – ответственного секретаря комиссии, я испытал необыкновенный подъем духа: передо мной выстраивалась четкая перспектива будущего, сменившая тревожную неопределенность, не покидавшую меня с момента отъезда из Шанхая. Однако мое радостное одушевление было омрачено реакцией отца, который стал настаивать на том, чтобы я не искал легкого пути на своей новой родине, но поступил осенью в обычную школу, дабы получить «настоящее» советское среднее образование как и у всех остальных моих сверстников, тем более что я был на пороге восемнадцатилетнего возраста, стандартного срока сдачи экзамена на официальный аттестат зрелости. Мои возражения, что это означало бы потерю целого года (18 лет мне должно было исполниться уже

ближайшим летом), отметились как несущественные отговорки, поскольку «у меня вся жизнь впереди» и надо с самого начала строить ее на прочном, а не на зыбком основании. Так впервые в моей жизни возникло принципиальное разногласие с отцом и соответствующая напряженность в семье.

Через несколько дней во время моей привычной прогулки по набережной Камы я несколько отклонился в сторону и набрел на двухэтажное деревянное здание с вывеской: «Молотовская Областная Заочная Средняя Школа Взрослых». Я вошел, постучался в дверь с надписью «Директор» и встретился с человеком, которого я до сих пор считаю сыгравшим самую ключевую, благотворную роль в моей российской судьбе. Это была Надежда Григорьевна Конюхова, женщина лет пятидесяти пяти, с молодыми, необычайно живыми и светлыми глазами, которая сразу напомнила мне мою шанхайскую бабушку. Внимательно выслушав мою нестандартную историю, в ответ на мой вопрос о возможности поступить учеником в ее школу, она сказала, что для этого я должен написать «проверочное» сочинение на любую тему по моему выбору из школьной программы по русской литературе. Я выразил готовность тотчас же подвергнуться испытанию. Она усадила меня за свой письменный стол, положила передо мной стопку тетрадных листов, проштампованных школьной печатью, сказала: «У вас три часа времени. Пишите» и вышла из своего кабинета.

Я выбрал наиболее выигрышную на мой взгляд тему: «Лермонтов и Байрон», не подозревая, что как раз в это время в стране разворачивалась идеологическая кампания по борьбе с космополитизмом. Стремясь произвести наилучшее впечатление своим знанием литературы и владением русским языком, я вдохновенно исписал 12 страниц. «Приходите за ответом завтра», – сказала она. Когда я явился на следующий день, она коротко сказала: «Тройка». Не знаю, сумел ли я скрыть свое разочарование такой сухой оценкой, но она быстро прибавила: «Беру вас в десятый класс. С расписанием занятий можете познакомиться в канцелярии». Через пять лет по окончании университета,

когда я поступил на работу в эту самую Заочную школу взрослых учителем русского языка и литературы, Надежда Григорьевна дала мне прочитать мое вступительное сочинение: 17 грамматических и стилистических ошибок (!!). Вечная моя благодарность светлой памяти Надежды Григорьевны Конюховой, взявшей на себя ответственность в те непростые годы принять в школу с нарушением всех формальных правил незнакомого молодого человека с сомнительным прошлым!

Уроки в школе проводились по четыре вечерних часа во вторник и пятницу; вечером в среду и в воскресенье до обеда давались индивидуальные консультации и принимались зачеты. Я усердно включился в занятия; ни о каком «завертывании» с уроков не могло быть и речи. Учащиеся были в основном намного старше меня, преимущественно из рабочей среды бывших военных и работников следственных органов. Лишь один был моим ровесником – невысокого роста, подслеповатый Володя Четвериков, с которым у меня завязались близкие дружеские отношения на многие последующие годы. При всей его невзрачной внешности он обладал незаурядными литературными способностями. Надежда Григорьевна однажды зачитала перед классом очередное его сочинение, и я был поражен широтой его эрудиции и умением образно выражать свои мысли. Когда я узнал, что он, как и я, собирался этим летом поступать в университет, это еще более сблизило нас. У меня, как и ни у кого в школе, не было сомнений, что он будет поступать на филологический факультет. К моему удивлению, он выбрал открывающийся новый факультет – юридический.

Что касается меня, то здесь никаких сомнений не было: только филологический факультет с его литературоведческим отделением, и никакой больше. Я читал школьный учебник по русской литературе XIX века как захватывающий роман и вскоре выучил его наизусть. Сами произведения были в основном известны мне; но сведений о биографиях писателей, о хронологических соотношениях между ними, о времени и порядке появления

их трудов, о различных обстоятельствах их частной и общественной жизни у меня было чрезвычайно мало. Имя А.И. Герцена было совершенно новым для меня. Я как раз в это время купил его монументальную книгу «Былое и думы» и буквально бредил образом В.Белинского, «Неистового Виссариона».

Однажды под вечер в клуб им. Толмачева появился человек, представившийся как Портной, директор металлургического завода в районном городе Нытва, и стал интересоваться, не согласится ли кто-либо из недавно приехавших, как он слышал, из Китая русских, владеющих английским языком, проводить занятия по этому языку с техническим персоналом его завода? Никто не отозвался. Присутствовавший при этом отец сказал, что для такого ответственного дела мало уметь практически кое-как изъясняться на английском языке, но надо иметь официальное образование в английской школе, и что он знает только одного человека из приехавших, который отвечает этому условию: это его сын, имеющий диплом Junior Cambridge. Через несколько минут в двери нашей комнаты вошел отец в сопровождении Портного и изложил мне суть дела. Я быстро согласился. Видно было, что Портной был несколько озадачен моей молодостью, но после того, как увидел мой английский аттестат, успокоился, и они с отцом приступили к деловому обсуждению условий соглашения. Они были чрезвычайно льготными для нас. Я должен был приезжать вечерним поездом в Нытву в любой удобный для меня день и в последующие два вечера после рабочего дня проводить по четыре часа занятий по имеющимся в заводской библиотеке учебникам. Я сразу прикинул, что самым приемлемым для меня днем приезда в Нытву был вторник, так как следующие два дня были у меня свободны от занятий в школе. Это не встретило возражений, и мы приступили к официальному составлению трудового договора с помощью заводского юриста, предусмотрительно приглашенного с собой Портным. Точного размера оплаты не помню, но она была очень щедрой по тем временам. Очевидно, Портной принадлежал к тем дальновидным руководителям, которые предвидели роль английского языка в

техническом прогрессе будущего и не жалели средств, чтобы подготовиться к нему заблаговременно.

В ближайший вторник я пришел на занятия в школу с дорожной сумкой. Поезд на Нытву отходил от вокзала Пермь Вторая поздно вечером, и у меня было достаточно времени успеть на него после конца уроков. Помню тревожное чувство ожидания на морозном перроне в преддверии этой первой в моей жизни самостоятельной деловой поездки. Так в самые трудные первые месяцы нашей жизни в Молотове неожиданно для самого себя я стал вносить свою лепту в материальное обеспечение нашей семьи, зарабатывая не меньше, чем отец в оркестре Вахромова.

Тем временем наступила уральская континентальная весна с по-летнему жаркими, солнечными днями и прохладными вечерами, придававшими особое очарование моим прогулкам по камскому бульвару. Занятия в школе шли своей чередой. Я строго придерживался разработанного в школе плана сдачи индивидуальных зачетов по профилирующим предметам аттестата зрелости. Наименьшие трудности я испытывал с математикой и русской литературой, наибольшие – с русским письменным языком, со многими правилами которого я только сейчас впервые познакомился.

В июне наступила экзаменационная пора. Все экзамены, за исключением сочинения, были устными. Непривычка отвечать на русском языке первоначально смущала меня, но я быстро научился справляться с чувством неловкости, и в целом сдал экзамены успешно. Осталось досдать ряд предметов, не представленных в аттестате, но предусмотренных в школьном учебном плане, что я также успешно выполнил. Наконец, состоялся торжественный выпускной акт с поздравлениями, фотографированием на память и вручением аттестатов. Я с трудом мог поверить, что менее чем за пять месяцев мне удалось успешно разрешить столь радикальную задачу.



Когда я явился в приемную комиссию университета, женщина-секретарь при виде меня изменилась в лице и стала сбивчиво извиняться, что она тогда ошиблась, что зарубежные дипломы недействительны и что для поступления нужен наш советский аттестат зрелости. Когда я протянул ей мой аттестат она не могла ничего понять, долго недоверчиво поворачивала его из стороны в сторону как бы ища следы подделки. Наконец, удостоверившись, что все подписи и печати на месте, и лишь переспросив, какая школа мне его выдала и записав имя ее директора, велела мне написать заявление с просьбой допустить меня до приемных экзаменов на филологическое отделение историко-филологического факультета. Не мог я предположить, что через несколько лет она подружится с моей матерью и станет близким другом нашей семьи.

На вступительных экзаменах среди множества поступающих я обратил внимание на живого общительного юношу с подкупающей открытостью готового вступить в дружеское общение с окружающими. Разговорившись с ним, я узнал, что зовут его Миша Печерский, что у него два младших брата и что рабочая семья его живет на Мотовилихе, в одном из отдаленных городских районов. Я отметил для себя, что мне повезло с самого начала сойтись с типичным представителем молодого советского поколения, к тому же подлинно пролетарского происхождения, о каких до этого мне доводилось только читать. Когда я узнал, что он пишет стихи и готовится стать поэтом, я почувствовал особую внутреннюю близость к нему и на всех последующих вступительных экзаменах относился к нему как к давнишнему знакомому. Мы оба успешно выдержали конкурсные испытания, и на всю последующую жизнь я нашел в нем самого близкого и верного друга.

2) Мои университеты. 1 сентября 1948 года с раннего утра у меня было необыкновенно приподнятое настроение. Я не мог до конца поверить, что отныне я полноправный советский студент – само это слово как-то особо многозначительно звучало в моем воображении. Перед первокурсниками факультета, битком заполнившими громадный зал на первом этаже, выступил

декан, поздравивший нас с поступлением и разъяснивший общее устройство университета и распорядок студенческой жизни. За ним выступил профессор русского языка Иван Михайлович Захаров, сразу расположивший к себе меня (как и, по-видимому всю аудиторию) своим внешним видом и задушевым, приветливо-отеческим тоном своей речи. Это был пожилой человек с бородкой, напоминавший всем знакомый образ М.И. Калинина. Он удивил нас первыми своими фразами: «Вы думаете, что вы поступили на филологический факультет? На самом деле, вы поступили на философский факультет». И стал разъяснять в доступных моему пониманию и чрезвычайно близких моему сердцу словах, что древнегреческий корень «Логос» – «с большой буквы!», как несколько раз подчеркнул он, – лежащий в основе греческого же слова «филология», несет значение не просто «Слова» (тоже с большой буквы!), но обозначает непередаваемую ни в одном из современных европейских языков неразрывную связь «Слова» и «Мысли». В подтверждение он привел несколько выдержек из книги незнакомого мне русского филолога А.А. Потебни «Мысль и язык».

Филфак, на котором протекали основные события моей студенческой жизни на протяжении последующих пяти лет, был расположен в правом (от центральной лестницы) крыле второго этажа. Приподнятое настроение первого университетского дня не покидало меня в последующие полтора-два месяца. Я просыпался каждое утро с радостным предвкушением вновь приобщиться к новой, ставшей для меня стабильной и обеспеченной на обозримое будущее, не подлежащей никаким непредвидимым превратностям среде обитания, в которой мое «я» нашло свое естественное жизненное проявление. Это было совершенно новое качество человеческого общения, всецело определяемое единством жизненного статуса всех его участников, не зависящего ни от каких привносных внешних факторов типа социального или материального положения их семей, но исключительно от их личностных особенностей. Ни в Реми, ни, тем более, в колледже Жанны д'Арк; где мне всегда в большей или меньшей степени сопутствовало чувство определенной дистанцированности от

моего окружения, не было такого ощущения «себя на месте». Размышляя об этом, я пришел к выводу, что все дело было в той общей психологической атмосфере, которой я дышал здесь и там. Даже в эколь Реми у многих моих одноклассников мне виделась, с моей нынешней точки зрения, их чрезмерная поглощенность материально-собственническим аспектом жизни. Как раз в это время я прочел на английском языке случайно попавшуюся мне на открытом читательском доступе к последним библиотечным поступлениям статью Оскара Уайльда «Душа человека при социализме», где тот в свойственной ему парадоксально-афористической манере доказывал, что только при ликвидации частной собственности человек будет гарантирован от вторжения общества в его личную жизнь, то есть обретет подлинную свободу. Эта мысль хорошо «легла» на недавно испытанное мною чувство облегчения, когда непредвиденные обстоятельства «освободили» нашу семью от непомерного груза типографской собственности.

Я все более отчетливо укреплялся в убеждении, что открывающийся мне с каждым днем советский образ жизни с его установкой на преобладание коллективных интересов над частными в наибольшей степени отвечает моим духовным потребностям. Бросающаяся в глаза по контрасту с шанхайскими оценочными критериями очевидная неактуальность для моих однокурсников вопросов финансового или служебного положения их родителей служила для меня отрядным облегчением, значимость которого для моего душевного состояния все более отчетливо давала о себе знать. Никакие привходящие внешние обстоятельства не отвлекали теперь от самого главного и, как оказалось, интересного: воспринимать людей не через призму их материального благосостояния, а в их естественной человеческой сущности.

Наша филологическая группа насчитывала около тридцати студентов; приблизительно столько же было в составе «историков», наших ближайших соседей по факультету. Между двумя отделениями сразу установились товарищеские отношения, не лишённые некоторых элементов

доброжелательного дружеского соперничества, проявляемого в наделяемых друг другу шуточных кличках; они нас окрестили «филологами-болтологами», мы парировали: «историки-истерики». В целом наличие общих лекционных курсов, соседство многих студентов обоих отделений по общежитию, общие поездки в колхоз с течением времени сыграли существенную роль в выработке чувства факультетской солидарности и установлении личных дружеских связей, сохранившихся на многие последующие годы. Мужская часть факультета, составлявшая меньшинство на обоих отделениях, присвоило себе, по примеру пеших воинов древней Греции, наименование «гоплитов».

Наша группа «гоплитов» первого курса филологического отделения включала всего лишь четыре студента. Помимо нас с Мишей это были Юра Суворов и Володя Лепескин. Мой тезка Суворов приехал из сибирской глубинки в Пермь, где у него проживала тетя, и поселился в общежитии; через него мы приобщились к своеобразной жизни студенческой «общаги». Это был спокойный, выдержанный юноша, отличающийся своим уравновешенным отношением к окружающим от экспансивного Миши Печерского с его все более отчетливо проявляющимся холерическим темпераментом. Эти черты Юры, в сочетании с его ровным характером, обеспечили ему множество дружеских отношений в общежитии и на других факультетах. Особенно тесные товарищеские связи установились между ним и студентом-историком Славой Мухиным, всячески поддерживающим Юру в его чреватом конфликтами увлечении миловидной студенткой биологического факультета Леной Верхоланцевой.

Володя Лепескин был участник Великой отечественной войны и соответственно значительно превосходил нас по возрасту и жизненному опыту. На войне он отморозил пальцы обеих рук, которые ему ампутировали, оставляя одни ладони с узкими щелями между основаниями прежних пальцев. Таким образом, он имел статус инвалида войны; но мы, младшие, его таковым не воспринимали вследствие его неизменно веселого нрава и неистощимого

«хохляцкого» юмора. Он уверенно справлялся со всеми бытовыми потребностями: пользовался ложкой и вилкой за столом, листал книги, записывал лекции, застегивал и расстегивал пуговицы на одежде и т. д. Его заботливая жена Вера, бывшая медсестра, выходившая его в госпитале, помогала ему, по моим наблюдениям, лишь в двух вещах: в разрезании твердой пищи ножом и в завязывании галстука. Они с женой имели двухкомнатную квартиру в центре города, где мы проводили многие наши курсовые праздничные мероприятия. Он был членом партии и пользовался большим уважением у администрации факультета. Мне часто думалось, что Володя Лепескин представляет собой столь же показательное для своего времени явление, как популярный литературный образ Алексея Мересьева, и в не меньшей степени достоин своей «Повести о настоящем человеке». Отношение к нему нашего молодого поколения было двояким, сочетающим непризнание какой-либо его физической ущербности сравнительно с нами и свободную непринужденность дружеского общения на совершенно равноправных началах с подсознательным пониманием его большей человеческой и социальной значимости, чем не нюхавшие пороха юнцы, случайно оказавшиеся вместе с ним в одной жизненной упряжке.

Как с давнишним знакомым я встретился в стенах университета с Володей Четвериковым, поступившим на юридический факультет. Он быстро нашел применение своим поэтическим способностям, войдя в редсовет популярной общеуниверситетской стенгазеты «Перец», оформляемой красочными карикатурами с сатирическими поэтическими подписями и регулярно вывешиваемой на лестничной площадке между первым и вторым этажами.

Медленнее налаживались дружеские отношения с женской частью курса. Лед был сломан нашей однокурсницей Лией Баландиной, проживающей в поселке Нижняя Курья, в нескольких километрах южнее Молотова. Заметив, по-видимому, некоторую стеснительную неловкость со стороны наших

юношей, она в самом естественном, непринужденно-дружеском тоне стала завязывать ряд ни к чему не обязывающих бесед с нами. Решающую роль в образовании нашего курсового коллектива, выделяющегося в последующие годы на факультете своей дружеской спаянностью, сыграла инициатива Лии, пригласившая всех желающих с курса провести вместе выходной день на природе в ее родной Нижней Курье. Откликнулась значительная часть группы. Если в начале дня при сборе на станции Пермь Вторая чувствовалась какая-то степень отчужденности между участниками встречи, то к вечеру при расставании на той же железнодорожной станции дня мы все давно перешли друг с другом на «ты», как будто не один год варились в одной каше. С этого дня Володя Четвериков, которого я привлек к участию в этом мероприятии, прочно вошел в нашу компанию.

Наиболее яркие фигуры, находящиеся в центре внимания университетской общественности, виделись мне в своего рода эстетическом свете, как законченные художественные образы, сошедшие со страниц какого-то литературного произведения из студенческой жизни: Юрий Мельков, секретарь комсомольского комитета, пользовавшийся непререкаемым авторитетом в университете; видный деятель студенческого профкома Волочков, характеризуемый Четвериковым в «Перце» как «гроза прогульщиков, втирателей очков»; Инна Быкова, известная как «совесть филфака»; Володя Радкевич, признанный пермский поэт и представитель местной богемы; Юрий Котков, чемпион университета и Молотовской области по шахматам, первый острослов вуза; певец Балалаев, неизменно завершавший своим знаменитым басом все университетские праздничные концерты; Лев Давыдычев, только что опубликовавший в районном литературном журнале «Прикамье» свою первую повесть и нелегально прославившийся среди университетских вольнодумцев тем, что на экзамене по истории партии ответил на вопрос: «Чем завершился доклад товарища Сталина на последнем съезде партии» – «Аплодисментами, переходящими в овации».

Я был, по-видимому, единственным «выходцем из капиталистического мира» среди многотысячного студенческого состава университета и поэтому не мог не привлекать к себе повышенного внимания. Это проявилось на первом же занятии на недавно учрежденной в университете военной кафедре, когда, знакомясь с новой студенческой аудиторией, преподаватель из всех многочисленных присутствующих вызвал именно меня, попросив рассказать о себе. Восприняв это первоначально как досадную для меня «случайность», я впоследствии пришел к убеждению, что здесь имела место заранее предусмотренная установка «прозондировать» меня и что мне надо быть готовым к многократному повторению подобного искуса в будущем. И действительно, я в скором времени потерял счет количеству автобиографий, которые мне доводилось писать по самым различным поводам; при этом главная моя забота состояла в том, чтобы не спутать какого-либо числа, имени или события.

Коллективные, в различном составе, выходы на природу стали обычным явлением в нашей студенческой жизни. Особую значимость они имели для меня на фоне моего шанхайского «природного голодания». В одном я решительно отличался от своих сотоварищей. Многие из них, в первую очередь те, которые жили с родителями в городе, увлекались сбором грибов и ягод. Мне подобные «хозяйственно-собственнические» установки были чужды. Для меня главным было эстетическое, материально незаинтересованное восприятие природы. Я мог подолгу созерцать какой-либо поразивший меня своей живописностью пейзаж в полном отключении от реальных обстоятельств нашей повседневной жизни. Я не знал названий многих видов цветков, деревьев, грибов, ягод, птиц и т.д. и мало заботился о пополнении своих знаний; более того, я исходил из подсознательной установки, что знание того, «сколько ножек у таракана», не только не проясняет, но скорее затемняет постижение сущности бытия.

Из преподавательского состава наибольшее впечатление на меня, после Ивана Михайловича, произвела Татьяна Львовна Левина, читавшая лекционный курс «Основ марксизма-ленинизма» обоим отделениям историко-филологического факультета. Она обладала четкой дикцией, ясной речью и уверенно владела огромной аудиторией. Я быстро усвоил центральный тезис ее курса – «общественное бытие определяет общественное сознание», находя в нем подтверждение своих смутных размышлений недавних последних дней. Татьяна Львовна с самого начала не скрывала, что относится ко мне с особо пристальным вниманием в силу моего нестандартного, по советским меркам, прошлого; должен сказать при этом, что я никогда не видел с ее стороны, как и со стороны других преподавателей, ничего, кроме объективной требовательности, без малейшего проявления предвзятой придирчивости или недоброжелательности.

Кроме ряда неудобств, связанных с моим шанхайским прошлым, я вскоре испытал некоторые преимущества. На нашем курсе в качестве иностранного языка фигурировал французский. На первом же занятии преподавательница разрешила мне свободное посещение уроков, чем я охотно воспользоваться и, памятуя об унаследованной от эколь Реми привычки «заворачивания» с занятий, перенес это вольное отношение на некоторые другие предметы, благо дисциплина на факультете была тогда не слишком строгой.

К концу первого семестра праздничное настроение первых дней постепенно начало сменяться становящейся привычной обыденно-рутинной «текучкой» лекций, семинарских занятий, зачетов, нарушаемой лишь днями выдачи стипендии («стипешки») в конце месяца.

В начале второго семестра наша семья переехала из комнаты, занимаемой нами в здании клуба им. Толмачева на улице Луначарского, в отдельную, частным образом снимаемую квартиру в полуквартале от трамвайной остановки «Ирбицкая» и четырехэтажной городской бани. Это было



полуподвальное помещение с низкими потолками и с окнами на уровне уличного тротуара. От входной двери небольшая лесенка в несколько ступеней вела вниз в неотапленные сени, захламленные домашним скарбом, откуда другая дверь, уплотненная в защиту от зимних холодов, открывалась в жилое помещение, состоящее из двух небольших комнат. Первая, проходная комната служила нам столовой, спальней для родителей и одновременно чем-то вроде гостиной. Дальняя комнатка едва вмещала мою постель и кое-что из личных вещей. Значительную часть первой комнаты занимала большая русская печь, тыльная часть которой составляла стену, отделявшую мое убежище от общей «гостиной».

При всей стесненности наших новых жилищных условий, они воспринимались мной с облегчением. Во-первых, у меня появился свой угол, который я мог считать в полном смысле слова «своим» внутренним пристанищем, обеспечивающим мне то, что я научился ценить как одно из основных достояний человека – возможность пребывать «наедине с самим собой», без какого-либо вмешательства внешних факторов. Кроме того, наше новое местопребывание в два с лишним раза сокращало расстояние до университета, расположенного вблизи трамвайной остановки Перми Второй, конечного пункта трамвайной линии, всего лишь через две остановки от «Ирбитской». Университет был отделен от этой конечной остановки высокой железнодорожной насыпью с прорытым у ее основания специальным пешеходным проходом, использование которого было сопряжено с длительным обходным путем к возвышающемуся вдали многоэтажному зданию нашего вуза. Поэтому студенты обычно избирали более прямой путь через саму насыпь с выходом на «проспект Букирева», как в шутку именовалась, по имени тогдашнего ректора университета, широкая аллея, протоптанная тысячами ног, ведущая по кратчайшей линии к освещенному фасаду здания, куда каждое утро устремлялись многочисленные потоки молодых людей со всех концов города. Еще издали всем идущим передавалось бодрое настроение звуками *Рондо каприччиозо* Сен-Санса, энергично исполняемого Д. Ойстрахом, и других

популярных оркестровых пьес, разносящимися далеко по всей округе через мощный университетский громкоговоритель. Мне каждый раз вспоминалось, что мое первое кратковременное местожительство в Молотове имело место именно в данном окраинном районе города.

К концу первого курса мы освоили основные аспекты общераспространенной, массовой советской послевоенной культуры, прежде всего – в его песенном проявлении. В группе сложилось два песенных центра, мужской и женский. Первый образовали Миша Печерский, Юра Суворов и я, второй – Лора Сивкова и Тоня Огорельцева, почему-то прозванная «Татьяшей». Мы могли часами без усталости распевать популярные песни из кинофильмов и на мелодии, созданные анонимными авторами на стихи известных поэтов: «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова, «Коробейники» Некрасова и др. Особой любовью у нас пользовались песни на слова полулегального Сергея Есенина:

Пейте, пойте в юности, друзья!  
Бейте в жизнь без промаха.  
Все равно любимая моя  
Отцветет черемуха.

Наше самодельное мужское трио с особым надрывным пафосом любило выпевать:

И ничто души не потревожит,  
И ничто ее не бросит в дрожь.  
Кто любил, уж тот любить не может.  
Кто сгорел, того не подожжешь.

Вероятно, со стороны весьма комичное впечатление должны были производить эти еще не оперившиеся птенцы, едва начавшие жить, не изведавшие до сих пор опустошающего воздействия человеческих страстей, но представляющих себя в качестве все испытавших в жизни и во всем разочаровавшихся «роковых личностей».

Никогда позже не было у нас такого повального увлечения хорovým пением. По-видимому, на мне сказались унаследованная от отца общая предрасположенность к музыке. Порой замахивались мы и на классику, увлеченно распевая основные мелодии увертюры к опере «Кармен», легко воспроизводимые человеческими голосами, за что однажды даже заслужили одобрительный отзыв женской части нашего курса. Иногда, правда, наши вокальные упражнения приводили к определенным осложнениям. Однажды, готовясь к очередному зачету по военному делу, мы спонтанно стали хором распевать «Я помню чудное мгновение» Глинки, чем вызвали подлинный переполох на военной кафедре: дверь в аудиторию внезапно шумно раскрылась, и кафедра в полном составе во главе с заведующим возбужденно ворвалась в помещение, по-видимому восприняв случившееся как своего рода акт гражданского неповиновения.

В это время имя Есенина ассоциировалось с чувством подспудного протеста, намечавшегося в обществе против все более жесткого регулирования государством литературной жизни страны. Это нашло проявление в распространившемся слухе, что группа советских писателей обратилась к И.В. Сталину с просьбой снять негласный запрет с С. Есенина, на что тот якобы ответил: «Обещаю вам, что через сорок-пятьдесят лет Есенин будет так же широко известен у нас, как Пушкин». В то время такая перспектива казалась немыслимой.

Вскоре после нашего благополучного перехода на второй курс меня пригласили на факультетское комсомольское бюро. Сообщив, что я являюсь единственным студентом университета, не вступившим до сих пор в ряды комсомола, поинтересовались, желаю ли я исправить это аномальное положение. Получив утвердительный ответ, предложили написать соответствующее заявление. Был назначен день моего приема на ближайшем комсомольском собрании факультета.

Собрание вызвало несколько повышенный интерес на факультете, но не предвещало ничего необычного. Все шло в установленном порядке, с соблюдением всех процедурных правил. Я, естественно, тщательно подготовил свое выступление, заботясь прежде всего о том, чтобы оно совпадало во всех деталях с несколькими ранее написанными мною автобиографиями. Последовало несколько ожидаемых вопросов из зала («Какова социальная ориентация монашеского ордена, при котором состоял колледж Жанны д'Арк?», «Какие заказы выполняла отцовская типография?»), на которые я давал заранее продуманные ответы. Неожиданно прозвучал вполне естественный в данной ситуации, но озадачивший меня вопрос: «Какое ваше социальное происхождение?». В тот момент я не сообразил, что надо было просто сказать: «Из служащих». Я на мгновение задумался. Действительно, кто я с социальной точки зрения? Тут мне почему-то вспомнился дед по материнской линии, и я выпалил: «Дворянин».

Не успев произнести это слово, я тут же пожалел о нем. Мне показалось, что я физически ощутил напряжение, которое возникло в зале. Комсорг факультета поспешно закрыл прения и поставил на голосование вопрос о принятии меня в ряды комсомола. Голосование было утвердительным и единогласным.

Во время своей вечерней прогулки по набережной Камы я беспощадно бичевал себя за необдуманно вырвавшееся слово. Поистине, язык мой – враг мой, непрестанно внушал я себе, критически уподобляя себя с Мишей Печерским, сплошь и рядом допускающим языковые ляпсусы типа «меня сомневает», вместо «я сомневаюсь», и ставя себе в пример Юру Суворова, который, напротив, отличался строгой выверенностью речи. «Задача состоит в том, чтобы сделать свой внутренний мир независимым от внешнего», вспомнил я недавно вычитанную у Герцена установку. А для этого надо научиться искусству молчания, способности не произносить автоматически, не пропуская предварительно через фильтр своего внутреннего контроля, все, что спонтанно

складывается в сознании. Только так можно избавиться от постоянных сожалений по поводу некстати сказанного, излишнего слова и стать «хозяином своей собственной души», то есть самому определять качество своего душевного настроя.

Тут мне пришло в голову, что с шанхайских времен, под наплывом новых жизненных впечатлений я не возвращался мыслью к *отнеа теа*, то есть утратил сознание своей идентичности с собственным прошлым. Смысл пережитого мною происшествия я теперь видел в том, что оно должно послужить мне поводом к восстановлению нарушенной связи времен. Приняв это решение, я ощутил успокоение внутренней смуты. Вспомнилось любимое изречение отца: «В жизни, как в музыке, нет неправильных аккордов. Есть их неправильное разрешение».

Приближался новый 1950 год. Страна готовилась к торжественной встрече 80-летней годовщине со дня рождения В.И. Ленина. На занятиях по истории партии усиленно прорабатывались наиболее значимые события, связанные с биографией вождя русской революции. Мне, как и другим студентам, было предложено заблаговременно подготовить к одному из семинаров краткое сообщение на какую-либо тему по моему выбору из заданного списка. Я выбрал тему «Выступление И.В. Сталина на траурном митинге, посвященном похоронам В.И. Ленина в январе 1924 года».

В процессе подготовки к этому первому моему публичному выступлению я подумал о том, что данное траурное событие накрепко связало между собой политические судьбы двух центральных личностей послереволюционной России и в значительной мере определило дальнейший ход нашей отечественной истории. Пытаясь проникнуться глубокой патетической значимостью этого исторического момента, я неожиданно для себя почувствовал зарождение поэтического образа скованной морозом площади, запруженной скорбно молчащим народом, и стоящего перед ним человека с

непокрытой головой, медленно произносящего судьбоносные, как отлитые из меди, слова. Сами собой сложились строки:

Стоял неподвижно он, с шапкой в руках,  
И слезы блестели на черных глазах.

Словам клятвы верности завещанию усопшего вождя, произносимым «человеком с непокрытой головой», казалось мне, вполне подобает, по их значимости, поэтическая форма, сочетающая высокую торжественность стихотворного выражения с более свободной ритмикой естественной разговорной речи. По моим представлениям, такая промежуточная формула между стихотворной и разговорной речью была найдена Грибоедовым, чередующим в одной строфе разноstopные строки с ударными и безударными хореями:

«Пойду искать по свету,  
Где оскорбленному есть чувству уголок [5 стоп].  
Карету мне! Карету! [3 стопы]»).

По данному образцу я попытался сочинить разноstopную строфу с чередованием различных трехсложных и двухсложных метрических размеров:

Замерли башни на траурном солнце [4 стопы],  
Тускло мерцает гранит [3 стопы],  
И площадь гудит [2 стопы]:  
«Клянемся! Клянемся! [2 стопы]»).

Тут я спохватился, что лишь недавно принял решение о необходимости тщательно продумывать любую пришедшую в голову инициативу, прежде чем запускать процесс ее вербальной реализации, но решил, что в данном случае как раз речь идет именно о таком предварительном «тщательном продумывании». В результате в течение двух-трех дней у меня сложилось стихотворение «Клятва верности». Подумав, я собрался с духом и решился послать его ни более, ни менее, как в редакцию «Правды». Через несколько дней мною было получено письмо от редакции областной Молотовской газеты «Рабочий путь», куда было перепослано мое письмо, где мне в осторожно-

выдержанных выражениях высказывались сомнения о целесообразности излагать высказывания товарища Сталина в стихотворной форме. Передо мной встала проблема: смириться с неудачей моего замысла или все-таки попытаться его осуществить? Идея публично опробовать стихотворную форму, совмещающую пафос поэтической и естественную простоту обыденной речи, прочно засела в моем сознании, подпитываемая примерами из современной художественной литературы и фильмов, когда советский человек в критической ситуации имел смелость проявить личную инициативу, принимая нестандартные решения, которые позже подтверждались жизнью.

Недели через две после начала второго семестра было объявлено комсомольское собрание, посвященное 80-летию со дня рождения В.И. Ленина. Я воспринял это, как знак судьбы. К середине собрания я прошел за кулисы актового зала и попросил ведущего объявить мое стихотворение. Я прочел его с заранее продуманными акцентами в нужных местах. Мне показалось, что зал выслушал меня с большим вниманием, чем предыдущих выступающих; во всяком случае, одна из моих сокурсниц позже сказала мне, что «была просто поражена».

На следующий день Володя Лепескин, встретив меня в коридоре, втолкнул в пустую аудиторию и спросил срывающимся от волнения голосом: «Слушай, что ты там выкинул вчера на комсомольском собрании?». Узнав суть дела, не дав мне договорить, он стал в большом смятении выговаривать мне: «То-то мне сегодня из-за тебя сделали втык на партбюро. Почему-то считается, что я несу ответственность за все глупости, которые происходят на факультете! Неужели ты не понимаешь, что такие вещи не делаются шаляй-валяй, что и как кому вздумается?». Дальше последовала длительная лекция о партийной дисциплине, чувстве ответственности за свои поступки, последствия которых могут сказаться не только на твоей личной судьбе, но и на судьбе близких тебе людей. Я постарался заверить Володю, что случившееся было результатом не какого-то моего злого умысла, а недостаточного знакомства с новыми для меня

правилами советской жизни. Мои слова, по-видимому, в какой-то степени успокоили моего не на шутку растревоженного собеседника; во всяком случае, он сменил тон разговора со мной на более уравновешенный. Более того, мне показалось, что он даже почувствовал некоторую вину передо мной за свою чрезмерную эмоциональность и попытался восстановить привычный для нас дружеский стиль общения. После этого разговора с Володией Лепескиным я окончательно утвердился в решении более жестко регламентировать внешние аспекты своего поведения согласно писаным и неписаным законам советской действительности, свободно и сознательно выбранной мною.. Ибо «общественное бытие определяет общественное сознание», думал я, так что невозможно пользоваться благими плодами общественного строя, не подчиняясь одновременно определенным ограничениям, налагаемым им на сферу твоей личной свободы.

На занятиях по истории философии я нашел авторитетное подтверждение данной концепции в учении И. Канта о диалектическом соотношении свободы и необходимости: внутренний мир человека (его «человек-в-себе») задает пределы его свободы (по Декарту, «мы свободны только в своих мыслях»), тогда как внешний, объективный мир управляется законом необходимости. «Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества». За все в жизни приходится платить определенную цену. Задача человека соответственно виделась мне в установлении приемлемого для него равновесия между этими двумя аспектами действительности.

Однако при этом ощущение какой-то глубокой трещины, пробежавшей в моем отношении к ранее идеализированной советской действительности, надолго осталось в моем сознании. Это новое ощущение было усилено подспудным сомнением, вкравшимся в мою душу в связи с развертываемой в стране идеологической кампанией против космополитизма. При всем моем сложившемся еще в Шанхае критическом отношении к американскому засилию в западной культуре, я не мог примириться с явными передержками и



искажениями, допускаемыми в развернувшейся полемике. Зримым последствием происходящих в стране процессов было появление на нашей кафедре литературоведения Сары Яковлевны Фрадкиной, высланной, как говорили, по обвинению в космополитических взглядах вместе со своим супругом, профессором юридических наук Кертманом, из какого-то крупного научного центра. Она блестяще читала лекции по истории советской литературы, и мы сопоставляли ее приезд в Пермь с эвакуацией ленинградской балетной труппы во время войны, поднявшей на новый уровень театральную жизнь в городе. Но то была вынужденная мера, определяемая объективной необходимостью, а не чьим-то произвольным решением. (Мир тесен, и много лет спустя моя коллега по Смоленскому университету, Эда Моисеевна Береговская, поведала мне, что еще студенткой Киевского университета она присутствовала на бурном собрании, на котором состоялось это отчисление двух «космополитов» из преподавательского состава).

Другим результатом проводимой идеологической кампании, но в противоположном смысле, была Анна Николаевна Руденко, неизвестно откуда появившаяся на факультете, внушавшая мне глубокое неприятие тем, что не стеснялась на своих лекциях допускать личные выпады и давать оскорбительные характеристики другим преподавателям. Подстать Руденко был профессор Воробьев, переведенный к нам на кафедру языкознания из Москвы за какие-то идеологические провинности, отличавшийся той же неприемлемой для меня привычкой неуважительно отзываться публично о своих коллегах по кафедре. Он откровенно кичился перед нами своим профессорским званием и столичным прошлым и всячески подчеркивал свое мнимое превосходство над местными преподавателями. На экзамене по введению в языкознание, не давая студенту до конца ответить на выставленные в билетах вопросы, направо и налево выставял всем четверки и тройки, приговаривая: «Четверка от профессора равносильна пятерки от доцента». Мое окончательное неприятие он вызвал тем, что вскоре добился смещения глубоко почитаемого мной Ивана Михайловича Захарова с поста заведующего

кафедрой и занял его место. Впрочем, он недолго продержался в кресле заведующего и, к моему облегчению, через некоторое время был переведен куда-то в один из сибирских городов. Я попросил Ивана Михайловича принять у меня передачу злополучного экзамена. Он назначил мне придти домой к нему с этой целью в определенный день.

В 1950 году в печати появилась работа И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», содержащая критику господствовавшего на протяжении последних полутора десятилетий в советской науке лингвистического учения Н.Я. Марра, претендующего на роль «единственно верной» марксистской теории языка. На факультете работала Франциска Леонтьевна Скитова, часто с большим юмором рассказывавшая об эксцентричном стиле чтения лекций Марром. После первого часа лекции, переосмыслив во время перерыва ее содержание, он сплошь и рядом возвращался в аудиторию со словами: «Забудьте все, что я вам говорил до этого», и с тем же жаром и убежденностью начинал излагать какой-то новый вариант своей теории. Но в одном он оставался постоянным – в определяющей роли во всех языках на земном шаре четырех смысловых элементов: *саль, бен, йон, рош*. Должен признаться, что уже тогда во мне начало закрадываться сомнение: может ли претендовать на истинность теория, постоянно меняющая критерии и структуру своей доказательности?

Утром в назначенный Иваном Михайловичем для переэкзаменовки день я прочел только что появившуюся работу И.В.Сталина. Когда я позвонил в дверь Ивана Михайловича, мне пришлось довольно долго ждать отклика, так что я даже подумал, не забыл ли он о назначенной мне встрече. Наконец дверь открылась. Я сразу обратил внимание на какой-то непривычный мне вид Ивана Михайловича. Он молча смотрел на меня, не приглашая войти. Я повторил цель моего прихода. Он столь же молча проводил меня в свой кабинет и предложил сесть. Затем продиктовал первый вопрос: «Работа товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Второго вопроса не последовало. Через

четверть часа я приступил к ответу. Выслушав меня не перебивая, Иван Михайлович выставил мне отличную оценку и поднялся с места, показывая, что переэкзаменовка закончена. Поблагодарив его и извинившись за причиненное беспокойство, я вышел.

Позднее я узнал от близко знавших его людей, что в 1937 году Иван Михайлович Захаров подвергся аресту, во время которого держал себя в высшей степени достойно, морально поддерживая других заключенных. Вскоре был освобожден и вернулся на прежнюю работу. Принял решение не за страх, а за совесть хранить лояльность, не нарушая своих нравственных убеждений, принятым в обществе общественным постулатам, соблюдение которых было обязательным условием возможности продолжения преподавательской деятельности. С этой целью пытался найти рациональное зерно в системе Марра и на этой казавшейся ему незыблемой основе построить предельно рациональный лекционный курс по языкознанию. Поэтому разрушение в одночасье этого, казалось бы, надежного основания должно было восприниматься им как чреватое опасностью краха его не только научной, но и личной судьбы. И мне невольно довелось быть единственным случайным свидетелем этого критического момента в его жизни!

Экцессы идеологической кампании последних месяцев служили предметом весьма острых и откровенных дискуссий с Мишей. На одной из них я как-то сказал ему по другому поводу: «Предсказываю тебе, что мы еще доживем до времени, когда белые офицеры будут представлены не как классовые враги, достойные всяческого поношения и уничтожения, а в романтическом ореоле русских людей, погибших в неравной борьбе за осуществление своих идеалов в один из самых трагических периодов нашей истории». Миша в ответ ограничился репликой: «Это в тебе говорит твоя дворянская кровь».

В сентябре 1950 года нас в очередной раз отправили на работу в колхоз. В одном отряде с нами оказались только что поступившие на первый курс

филологического отделения студенты-новички. Мужская часть нашего курса сразу приняла по отношению к ним льстящий нашему самолюбию покровительственный тон уже издавших виды старожилы факультета, вызвавший ряд добродушно-иронических ремарок со стороны наших однокурсниц.

Быстро завязались дружеские отношения с тремя первокурсницами: Бэлой Рославлевой, дочерью известного молотовского театрального режиссера, ее подругой Лялей Поповой, отличавшейся уравновешенным, самодостаточным характером, и Люсей Павловой, производившей впечатление наивной школьницы, вызывавшей инстинктивное желание защитить ее от видимых и невидимых опасностей. По возвращении в университет к его нормальной студенческой жизни Бэла оказалась владелицей ряда только что вошедших в моду долгоиграющих пластинок, вмещающих целую оперу на четырех-пяти дисках широкого формата. Мы установили дружеские связи с обслуживающим персоналом университетской радио-рубки и стали проводить там целые вечера, прослушивая «Евгения Онегина» и «Пиковую даму» Чайковского. Особенно привлекал меня исполнитель партии Онегина Павел Лисициан, напоминавший мне металлическим тембром своего баритона памятного по шанхайским фильмам Нелсона Эдди. Вскоре я выучил эти оперы чуть ли не наизусть и даже пытался установить некоторые переключки Чайковского с другими композиторами (например, речитатива Германа «Дай умереть, тебя благословляя, а не кляня» с вступлением к «Патетической сонате» Бетховена)

Вскоре наша мужская фракция «гоплитов» пополнилась еще одним, пятым членом – Сашей Воробьевым, который был старше нас с Мишей и Юрой Суворовым на пару лет и занял в иерархической возрастной шкале промежуточное место между нами и Лепескиным. Он обладал большим жизненным опытом, которым охотно делился с нами, оставаясь на периферии нашего интимного внутреннего круга. Его основное влияние на нашу жизнь

состояла в том, что он познакомил нас с ранее неизвестной ни нам, ни нашим однокурсникам залихватской песнью на искристый, со многими вариациями мотив, по его словам, Алябьева:

Ночка начинается. Фонарики качаются.  
Филин ударил крылом.  
Ой-да подайте мне чару глубокую  
С пенистым, крепким вином.  
Дайте, подайте коня мне вороного.  
Крепче держите за уздцы.  
Едут с товаром дорогой знакомою  
Муромским лесом купцы.

Далее следовал обычный разбойничий сюжет в духе Васьки Буслаева с подвигами удалых молодцов, грабежами и убийствами, завершавшийся характерной концовкой:

Есть у меня для тебя, черноокая,  
Шубка на лисьем меху.  
Ты будешь ходить вся в шелках разодетая,  
Спать на лебяжьем пуху.

Наряду с зажигательным мотивом, эта песня обладала тем достоинством, что кроме нас не была известна на факультете никому другому, и поэтому долгое время служила своего рода «визитной карточкой» нашего импровизированного мужского ансамбля – позднее всего нашего курса – на различных студенческих застольях и празднествах.

Саша Воробьев, влившийся в нашу группу позже всех других, имел за собой ряд академических «хвостов»-задолженностей, и однокурсники взяли «шефство» над ним по их скорейшей ликвидации. Мне досталось «подтягивание» его по английскому домашнему чтению. Мы разбирали адаптированный текст «Овода» Войнич. Я не сознавал тогда, что занимаюсь репетицией своей будущей преподавательской профессии.

Тем временем отец, продолжая работать руководителем художественной самодеятельности в клубе Толмачева, стал разрабатывать, на основе идей Макаренко и Станиславского, свою особую теорию художественного воспитания молодого поколения. У нас в доме стали часто бывать, почти на правах членов семьи, наиболее близкие к нему воспитанники – Вася Горяев, высокий красивый брюнет со звучным баритоном, и Лида Чаплыгина, которых он постоянно ставил всем на вид в качестве наглядных примеров своего воспитательного метода. И хотя я был полностью поглощен перипетиями своей студенческой жизни, я стал с тревогой наблюдать появление и рост знакомых мне по прошлому признаков разногласий и взаимных недопониманий с клубной администрацией и коллегами по работе. У нас дома участились споры отца с явно недоброжелательно расположенными к нему незнакомыми людьми. Особую антипатию во мне вызывал бывший шанхайский эмигрант, получивший в нашей семье прозвище «Голстогуб».

Разрядка наступила вечером 13-го апреля, ставшем для нашей семьи самым черным днем нашей жизни.

3) Апокалипсис. В начале двенадцатого ночи, когда я, утомленный происшествиями истекшего дня, раньше обычного улегся спать в своей дальней камерке, послышался разбудивший меня непривычный шорох и ходьба в ближней ко входу комнате. Вошедший отец на мой раздраженный вопрос ответил не терпящим возражений голосом: «Одевайся скорей!».

В первой комнате оказались три человека, двое средних лет и один помоложе, в котором я тотчас узнал одного из слушателей моего выпускного класса Заочной школы по фамилии Сажин. Он слегка вздрогнул при виде меня, но тут же отвел глаза. Начался тщательный обыск нашей нехитрой обстановки. Я заметил, как один из старших, рассматривая папку с фотографиями, вдруг подозвал к себе Сажина и с едва заметной усмешкой показал ему одну из них; тот недовольно выхватил снимок из его рук и сунул его, но не обратно в папку,

а в карман своего пиджака. Я понял, что это была заключительная фотография, сделанная на торжественном выпускном акте в Заочной школе.

Обыск продолжался больше часа. Особое внимание уделялось книгам, которые тщательно пролистывались и вытряхивались. Внезапно в комнате раздался резкий звонок. Зазвонил будильник. От неожиданности с одним из старших – по-видимому, главным в группе – случилось что-то вроде истерики. Его помощник бросился успокаивать его. «Спокойно! Спокойно! Это просто будильник!».

Закончив обыск и забрав с собой большую кипу бумаг и документов, пришедшие велели отцу одеть зимнюю одежду и выйти во двор. Отец, с легкой саркастической улыбкой наблюдавший за происходящим, крепко обнял маму и меня и вышел из комнаты. Наступила первая в моей жизни бессонная ночь. Горькой иронией сверлила мою память фраза о необходимости сделать свой внутренний мир независимым от внешнего. Тусклый морозный рассвет казался олицетворением безнадежности, утраты жизнью всякого смысла и разумного основания. Через какое-то время я с удивлением услышал, что мама хлопочет с приготовлением завтрака. Вопреки моим ожиданиям, при виде меня она не разразилась слезами и причитаниями; лишь ввалившиеся за прошедшие несколько часов и потемневшие глаза выдавали всю глубину ее переживания. На всю последующую жизнь я запомнил первые произнесенные ею после страшной ночи слова: «У нас в прошлом было много хорошего. Сейчас судьба послала нам тяжелое испытание. Когда тучи рассеются и наш папа вернется к нам, его должна встретить дружная, любящая его семья, сохранившая все светлое, чем мы жили до сих пор. Поэтому надо жить дальше, храня верность прошлому и веру в будущее. Уверена, что он как-то почувствует, что мы не упали духом и что эта наша решимость поможет ему выдержать выпавшее на его долю суровое испытание».

Не могло быть и речи, чтобы идти в университет. Я вышел на свое привычное место на берегу Камы и долго стоял там, обуреваемый самыми

противоречивыми чувствами. Я ощущал, что за истекшую ночь повзрослел на многие годы и научился чему-то такому, чему не могли научить самые изощренные абстрактные рассуждения. Перед глазами стояла саркастическая улыбка отца, показывавшая, что он отнюдь не подавлен случившемся, но воспринимает его как вызов враждебной внешней силы его заветным идеалам и готов вступить в неравную борьбу за их осуществление. Трагические события прошедшей ночи показали, что реализация герценовской установки «сделать свой внутренний мир независимым от внешнего» определяется не только простым волевым актом человека, но и его готовностью купить такую привилегию ценой риска подвергнуться силовому вторжению этого внешнего мира в сферу своей внутренней свободы. По словам Гёте, «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день готов идти за них на бой». С другой стороны, в ушах продолжал звучать призыв мамы «хранить верность прошлому (то есть обретенному ценой стольких усилий чувству причастности к великой Родине) и веру в будущее». Попытки разрешить эту дилемму составили основное содержание моих духовных поисков в последующем отрезке моей жизни.

В течение двух дней я не мог заставить себя пойти в университет. На третий день, в воскресенье, мама напрямую спросила меня, что я собираюсь делать дальше. Я пробормотал что-то невнятное об устройстве на работу в местную типографию за неимением каких-то иных профессиональных навыков. Она решительно возражала, настаивая на том, чтобы я не бросал начатого три года назад с таким трудом дела, открывающего передо мной перспективы нормального, по советским критериям, будущего. «Без высшего образования ты не найдешь себе достойного места в жизни», – говорила она. В результате в следующий понедельник я, скрепя сердце, направился по привычному, прежде овеянному столькими надеждами, пути в университет.

Прежнее чувство товарищеской причастности даже к неодушевленным предметам университетского быта сменилось ощущением всеобщего заговора



против меня: продолжающееся обычное течение студенческой жизни воспринималось мной как молчаливое одобрение учиненного над нашей семьей насилия. Однако через несколько дней я должен был признать необоснованность такого представления. В понедельник, по-видимому, разразившаяся над нашей семьей беда не успела еще стать общеизвестной; но такое происшествие, естественно, не могло долго оставаться тайной. Вскоре я почувствовал некоторое трудно определяемое изменение отношения ко мне однокурсников. Но это не было отчуждение, о котором мне много приходилось читать в последующие годы о лицах, родственники которых становились жертвами социальных репрессий.. Напротив, я стал ловить на себе сочувствующие взгляды как на человека, неожиданно подвергнувшегося тяжелой болезни. Мне было невыносимо присутствовать на практических семинарах в малых группах по 8–10 человек, и я стал посещать лишь лекционные занятия, на которых сидел, погруженный в себя, не слушая и не записывая слова лектора. Юра Суворов, обычно занимавший место на несколько рядов впереди меня, стал молчаливо садиться рядом со мной; его безмолвное присутствие оказывало успокоительное воздействие на меня. Часто с другой стороны подсаживался Миша Печерский. Так, в «защитном» окружении моих двух сокурсников, ставших отныне самыми близкими мне людьми, я просиживал в полном отключении от окружающей обстановки лекционные часы, чтобы затем столь же безмолвно удалиться из университета.

Надо было подумать о каком-то заработке на нужды семьи. Как я пожалел, что вскоре после поступления в университет отказался от преподавания английского языка в Нытве; впрочем, подумал я, еще неизвестно, согласилось ли бы заводское начальство оставить у себя на службе человека с сомнительной социальной репутацией. Подумав, я решился обратиться к однажды уже выручившей меня в критической ситуации Надежде Григорьеве Конюховой. Выслушав мою историю, она на минуту задумалась, затем характерным жестом вскинула голову и сказала: «Вы мне ничего не говорили. Я ничего не знаю. У вас, кажется, есть английский диплом? Беру вас на работу

учителем английского языка». Так, второй раз эта замечательная женщина в трудную минуту протянула мне руку бескорыстной великодушной помощи, рискуя ради едва знакомого, не связанного с ней никакими родственными отношениями человека своей служебной карьерой и благополучием. Я, естественно, облегченно вздохнул, получив материальную поддержку семье; но еще большее облегчение испытал от обнаружения того, что не стою одиноко перед лицом обрушившейся на нашу семью бедой, но имею безмолвную поддержку своих университетских однокашников и вполне осязаемую помощь таких людей, как Надежда Григорьевна. Не знаю, рассказала ли она что-то о моих обстоятельствах кому-то из своих сослуживцев, но учительский коллектив Заочной школы принял меня с исключительной душевной теплотой и доброжелательностью.

Неожиданно мы получили совершенно огорошившее нас извещение, что отец признан душевно невменяемым и временно помещен для лечения в психическую больницу. Я понял, что это было результатом его неадекватного, с точки зрения его следователей, поведения на допросах. Он, очевидно, принял свой арест как акцию внешних сил, враждебных его заветным идеалам, и поставил своей целью не пассивно покориться постигшей его участи, но показать свою несломленность духа и готовность постоять за свои убеждения до конца. Я почувствовал в этом проявление давно знакомой мне психологической установки воспринимать события своей жизни в обобщенно-символическом свете как борьбу добра и зла и видеть свою задачу в посильном отстаивании своих нравственных принципов, даже ценой вовлечения себя в неравную борьбу с окружающим миром. Реакции отца, по-видимому, настолько озадачили следственные органы своим несоответствием их предыдущему опыту работы, что они не нашли ничего лучшего, как избавиться от него, объявив невменяемым. Меня глубоко тронуло сознание трагической безнадежности донкихотской войны с ветряными мельницами, объявленной отцом всему государственному репрессивному аппарату, сопряженной с признанием его внутренней правоты по каким-то высшим, сверхразумным

критериям. Я невольно задумался о том, является ли такой исход облегчением или утяжелением его участи.

Вскоре после этого произошло еще одно крайне удивившее меня событие: ко мне домой после занятий зашел с дочерью-девятиклассницей Володя Лепескин. Он напрямик спросил меня, что случилось с моим отцом. «Он, действительно, нездоров, или его, как Чаадаева, насильно засадили в сумасшедший дом?» Это был первый и единственный случай, когда кто-то из моих близких знакомых открыто затронул вопрос об отце. Я ответил: «Ко мне в прошлом году приходил Миша Печерский. Я познакомил его с папой. Они около часа беседовали с ним на самые разные темы. Миша потом высоко отозвался о его здравом смысле и логичности рассуждения. Можешь осведомиться о его впечатлении у него самого». Володя не задавал больше вопросов и сменил тему разговора. Через четверть часа они с дочерью ушли. Я был благодарен Володе за его визит, чреватый, как я понимал, определенной опасностью для него, о чем свидетельствовало то, что он счел необходимым подстраховаться присутствием дочери.

Положительным моментом происшедшего неожиданного поворота событий явилась возможность маме и мне посещать папу в больнице. Первое мое свидание с ним прошло в неожиданных для меня спокойных тонах, без бурных эмоциональных всплесков. Он прежде всего осведомился о наших семейных делах. С большим удовлетворением принял известие, что прежний ход нашей жизни не претерпел существенных изменений, что я не бросил университет и получил работу в Заочной школе; просил передать свою заочную благодарность лично не знакомой ему Надежде Григорьевне. О себе говорил лаконично и сдержанно, заверив меня, что на допросах его никто «и пальцем не тронул»; следовательно предпочитал более изощренные, психологические методы воздействия, неоднократно напоминая, что у отца имеется сын, только что начавший самостоятельную жизнь, судьба которого в значительной степени зависит от его (отца) готовности не утаивать что-либо от следствия,

стремящегося лишь к установлению объективной истины, но чистосердечно сотрудничать с ним. Папа добавил, что с самого первого дня заключения его больше всего мучил страх обо мне, не нахожусь ли я где-то в соседнем застенке, и поэтому он к великому своему облегчению узнал от меня, что я продолжаю учиться на «идейном» факультете и принят на «идейную» должность школьного учителя. В конце нашего свидания он рассказал с некоторой, как показалось мне, гордостью, что его долго допрашивали, кто предупредил его о готовящемся аресте, ибо он проявил необычное в таких ситуациях самообладание. Он сказал также, что искал случая передать «на волю» записку с двумя словами на английском языке: «Hopeless. Thicklip» («Безнадежно. Толстогуб»).

На следующем нашем свидании, оказавшемся последним, отец начал с того, что в разговоре с одним из пациентов больницы узнал, что тот был в тридцатые годы одним из учеников Надежды Григорьевны Конюховой, против которой было организовано открытое партийное собрание с явной установкой на обвинение ее в идеологической неортодоксальности, но пошедшее не по запланированному руслу: на собрание пришло большое количество тогдашних и бывших учеников Надежды Григорьевны и их родственников, которые один за другим стали говорить о ее положительной роли в идейном воспитании рабочей молодежи, не давая возможности ее обвинителям выступить с заранее заготовленными обличительными речами, так что в итоге собрание завершилось не ее осуждением, а вынесением ей партийной благодарности за полезную воспитательную работу. Затем с явным волнением папа сообщил мне, что его в ближайшее время переводят в казанскую больницу с более строгим режимом, так что неизвестно, когда мы увидимся в следующий раз. До конца жизни в моей памяти осталась единственная пессимистическая фраза, произнесенная папой за все это время: «Если бы ты только знал, с каким облегчением я бы встретил конец этой моей земной жизни». Когда я в следующий раз пришел на свидание, мне сообщили, что мой отец переведен в

другое место заключения, дав казанский адрес и разрешение писать ему не чаще четырех раз в году.

В университете приближалась весенняя сессия. Ко мне подошла Лия Баландина и – по-видимому зная, что значительная часть занятий была мною пропущена – предложила вместе готовиться к экзаменам. Я охотно согласился, воспринимая это как еще один показатель негласного сочувствия ко мне окружающих. Со стороны преподавателей общественных наук и других предметов я не испытал ни малейшей предвзятости и благополучно сдал сессию.

Наступивший четвертый курс был для меня годом буквальной одержимости чтением. Интенсивно культивируемая в предыдущие годы самодостаточность внутреннего мира послужила в пору жестоких испытаний спасительным заслоном от отчаяния. Именно в этот самый смутный период моей жизни во мне вырелась перифраза известной английской поговорки – «Дом англичанина – его замок», гласившая: «Для **русского** человека **его** душа – **его крепость**». Эта формула стала путеводной звездой всего моего будущего. Как обычно, мои душевные переживания выливались в форму литературных изречений. Властителем моих дум первоначально был Генрих Ибсен конечного этапа своей творческой биографии, начиная с драмы «Кукольный дом». Глубокий след в моем сознании оставила ремарка его героини Норы о том, что, кроме обязанностей человека перед другими людьми, есть его обязанности перед самим собой, перед заложенными в нем жизненными возможностями, ждущими своей реализации. Дальнейшую разработку этой мысли я нашел у Романа Роллана, оказавшего на меня сильное воздействие образами Жана Кристофа в 10-томном романе и Бетховена в своих музыковедческих статьях. Долгое время Бетховен, утверждавший: «Князей много, а Людвиг Бетховен – один», оставался моим идеалом творческой личности, героически отстаивавшей самодостаточность своего духовного мира от давления внешней действительности, олицетворяя своей судьбой кантовскую идею

диалектического противоборства внутренней свободы «человека-в-себе» всенивелирующему катку объективной необходимости («Так стучится судьба в дверь человека»).

Эти отвлеченные музыковедческие образы получали конкретное слуховое воплощение на еженедельно проводимых по понедельникам симфонических концертах оркестра Молотовского оперного театра, регулярно посещаемых мною. Со временем образовался своего рода негласный «музыкальный клуб» постоянных посетителей этих концертов, знавших друг друга в лицо и приветливо здоровавшихся при случайных встречах в различных местах города. Главный режиссёр оперного театра филармонии И.И. Келлер, как бы переселившийся в современность со своей завитой треугольной «египетской» бородкой из какой-то далекой эпохи в прошлом, выступал с эрудированными пояснениями исполняемых произведений. Он был поклонником Рихарда Вагнера, и ему я обязан сохранившимся на все последующие годы преклонением перед автором Тангейзера. Запомнились слова Келлера о том, что Вагнер отличался наиболее сложной, после Берлиоза, оркестровкой своих сочинений и приведенное им мнение П.И. Чайковского, что гению этого немецкого композитора в большей степени отвечало бы сочинение не опер, а симфонических произведений.

В это время началась моя дружба с Агитой Паздниковой, чья мама работала в одной из районных библиотек города. Через нее я ознакомился с рядом книг, не представленных в открытом библиотечном доступе. Это были, прежде всего, два полулегальных романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», которые я детально изучил задолго до того, как они стали достоянием широкого читательского круга и, таким образом, составил о них свое индивидуальное представление, независимое от трафаретов того культового значения, которое они позднее приобрели для нашей интеллигенции. Я пытался осмыслить их содержание не в рамках каких-то

общепринятых критериев, а исключительно в контексте тех субъективных проблем, которые стояли передо мной в моем внутреннем мире.

Центральный образ Остапа Бендера, «сына турецкого подданного», был сразу воспринят мною как некое чужеродное советской действительности явление, противостоящее ей, опираясь на каким-то образом приобретенные понятия философии, социологии и других аспектов мировой культуры, постоянно упоминаемые им на протяжении обоих романов. Показательна сцена, когда Остап в свойственных ему изысканно вежливых выражениях просит Балаганова осадить зарвавшегося Паниковского и «восстановить статус-кво»; Балаганов не знал, что такое «статус-кво», но по выражению лица Остапа понял, что от него требуется, и высадил провинившегося «нарушителя конвенции» из машины. Именно эта независимость Бендера от неписаных предписаний советской действительности определяет ту атмосферу внутренней свободы, которая делает этот литературный образ столь привлекательным для современного читателя. Однако эта внутренняя свобода не сопряжена, думалось мне, со сколько-нибудь достойными жизненными целями. Остап Бендер – не творчески-созидательная личность. Он ничего не создает сам, но стремится использовать свою жизненную изворотливость и находчивость для присвоения себе исходной собственности других – тещи Воробьянинова или подпольного миллионера Корейко. Таким образом, по своему жанру эти произведения являются разновидностью мирового «воровского романа», представляющего занятное чтение, но отнюдь не способного составить позитивный нравственный эталон для подражания. Придя к такому выводу, я нашел дополнительное обоснование своим новым убеждениям и заранее обеспечил себе иммунитет от чрезмерного увлечения этим талантливym произведением.

Продолжая свои размышления на данную тему, я стал улавливать определенную аналогию между этими романами и таким показательным явлением, как советский анекдот, который получил в это время широкое

распространение в нашем обществе. Особое впечатление на меня произвел следующий образец этого симптоматичного для эпохи жанра, с наиболее яркими примерами которого регулярно знакомил меня Володя Четвериков:

«Первомайская демонстрация рабов в древнем Риме несет лозунг: “Да здравствует феодализм – светлое будущее человечества”».

Я не переставал восхищаться глубиной и социальной остротой этого изречения, соответствующей моему тогдашнему доминантному настроению. Одна эта лаконичная фраза – «феодализм – светлое будущее человечества» – перевешивала своим ироническим смыслом многочасовые лекции по общественным дисциплинам. А чего стоило незабвенной памяти «Армянское Радио», за внешней наивной простотой и непритязательностью которого таилось, наподобие бесхитростным афоризмам Козьмы Пруткова («Хочешь быть счастливым? Будь им!») проникновение в сущность самых актуальных проблем современности:

«Армянское Радио спрашивают: можно ли построить коммунизм в отдельном взятом городе Ереване? Отвечаем: можно. Но лучше в Тбилиси». Последняя краткая ремарка отображает подлинное отношение нашего общества к официальной утопии построения коммунизма и одновременно непростого отношения армян к соседней Грузии.

Сложный логический «парадокс лысого», отображающий гносеологическую проблему того, до какого предела признание частных различий между двумя явлениями совместимо с утверждением их сущностного единства, получает сатирическое освещение в следующей анекдотической ситуации:

«Нас спрашивают, правда ли, что Айваз Карапетян выиграл в спортлото машину “Волгу”? Отвечаем: *Правда*. Но только не Айваз Карапетян, а Карапет Айвазян. И не в спортлото, а в преферанс. И не “Волгу”, а десять рублей. И не



выиграл, а проиграл». Как такой ход рассуждения напоминает, подумал я, некоторые наши идеологические дискуссии!

В моем представлении анекдоты были проявлением коллективного общественного сознания, реакцией на засилие социальных трафаретов в нашей жизни и выполняли в этом отношении роль психологической отдушины наподобие романов о «сыне турецкого подданного». Я невольно сопоставлял мировоззренческую многозначность и емкость подобных шедевров этого нового жанра анонимного устного народного творчества с плоским сексуально-озабоченным юмором большинства западноязычных анекдотов, видя в этом «себе-на-уме» русского общественного сознания наилучшее опровержение бытующих в Европе представлений о пассивной покорности нашего менталитета правительственному давлению. Меня поражало, кстати сказать, в годы самой крайней антизападной пропаганды отсутствие в нашем народе чувства враждебной отчужденности от западных ценностей, что проявлялось, в частности, в феноменальной, никогда и нигде не виденной мною ранее, популярности трофейных фильмов о Тарзане. Американский народ, по моему убеждению, в гораздо большей степени, подвластен диктату социальных штампов и политическому манипулированию со стороны власть имущих.

В конце учебного года мне довелось побывать на конференции Студенческого научного общества на докладе Юрия Филатова, старше меня на один или два года. Тема его доклада заранее заинтриговала меня – «Анекдот как элементарная ячейка словесного искусства». Филатов рассматривал анекдот как «минимальную, далее нечленимую «клеточку» литературной формы по аналогии с понятием морфемы – «минимальной значимой единицей языка». Его аргументация показалась мне вполне убедительной, и я принял активное участие в последующем обсуждении его доклада. Так завязалось знакомство и дружба с Юрой Филатовым, сыгравшим значительную роль в моей жизни. Он был ярким представителем молотовской богемы, другом Володи Радкевича, поклонником Клода Дебюсси и Скрябина в музыке и модернистской живописи

от французских импрессионистов и далее. Надо сказать, что в отличие от литературы и музыки я до тех пор не испытывал сколько-нибудь заметного интереса к визуальным искусствам. Именно здесь Юра Филатов выступил в роли первооткрывателя, «открывшего мне глаза» на это новое для меня измерение духовной жизни человечества. Я начал страстно восполнять открывшийся вакуум в моем образовании усиленным чтением и собиранием репродукций со знаменитых произведений мировой живописи.

Мощным катализатором этого нового моего увлечения послужило знакомство с Ирой Богоявленской, подругой Белы Рославлевой, поступившей после окончания средней школы в Ленинградский Институт Точной Механики и Оптики. Там ее фактически удочерила представительница родовой петербургской интеллигенции, введшая ее в круг близких ей писателей и художников, давших Ире «из первых рук» сведения о ряде новых явлений в ленинградском мире изящных искусств. В сочетании с ее близким знакомством с экспозициями Эрмитажа, Русского музея и других ленинградских сокровищниц искусства, это делало Иру бесценным собеседником для меня. С первой встречи меня привлекли в ней отсутствие какой-либо рисовки, стремления поразить меня обилием своих связей в культурном мире Ленинграда, неподдельная простота и открытость ее манеры общения. С этих пор Ленинград бесповоротно занял в моем представлении первое место в качестве культурной столицы России и стал желанным объектом всех моих будущих устремлений.

Незадолго до летних каникул на нашу кафедру пришел представитель местного отделения «Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний». Проинформировав нас, что следующий, 1953-й год объявлен годом Алексея Максимовича Горького в связи с 85-летней годовщиной со дня его рождения, он спросил, не согласится ли кто-либо из наших старшекурсников в ближайшее воскресенье прочитать в одном из заводских клубов популярную лекцию о жизни и творчестве великого

пролетарского писателя. Все молчали. Миша кивнул в мою сторону: «Давай, Юрка, спасай ситуацию!». Недолго думая, я согласился.

Наскоро подготовив материал, я явился в воскресенье вечером в актовЫй зал клуба. За опущенным занавесом сцены стучали молотки: готовились декорации к спектаклю «На дне». Меня встретил режиссер спектакля: «На сколько рассчитана ваша лекция?» Я принял на себя вид опытного лектора: «А сколько вам нужно? Могу варьировать от сорока минут до часа». «Нет, это слишком. Постарайтесь уложиться в полчаса». Меня объявили. Шум в зале немного поутих. Я начал каким-то не своим голосом говорить об общем значении Горького в русской и мировой литературе. Перешел к его биографии: «Детство», «В людях», «Мои университеты». Постарался обыграть тему, выигрышную по своей географической ассоциации с местными реалиями: «город на Каме, где, не знаем сами». Далее: «Макар Чудра», «Песня о Буревестнике», «Мать». Смотрю, речь уже зашла о съезде советских писателей, о теории социалистического реализма. «Кто не сдастся, того уничтожают». Остановись, мгновение! Но не тут-то было. Слышу, как язык мой произносит гневное обличение врагов народа, явившихся причиной преждевременной смерти великого писателя. Повторно излагаю, в тех же словах, значение Горького в мировой литературе. Благодарю присутствующих за внимание. Жидкие аплодисменты. Смотрю на часы: от начала лекции прошло восемь минут.

Когда я прошел за занавес на сцену, заполненную беспорядочно снующими взад и вперед рабочими, ко мне подбежал режиссер: «Начинайте!» - «Я уже кончил!». Никогда не забуду выражения ошарашенного удивления на его лице при этих моих словах. Он хотел что-то сказать, но не нашел слов и с жестом какого-то неопишемого отчаяния бросился в аварийном темпе готовить площадку к предстоящему спектаклю. Я повернулся и, ни с кем не попрощавшись, ни слова не говоря, покинул сцену моего первый-блин-комом инаугурационного лекторского испытания. К счастью, в понедельник начались

каникулы, и никто из однокурсников не поинтересовался, как прошло мое лекторское боевое крещение.

На следующей неделе я принес путевку на чтение лекции в отделение Общества по распространению знаний. Мне объяснили, что по правилам в конце путевки должен быть приведен заверенный ответственным лицом отзыв с качественной оценкой проведенного мероприятия, но, учитывая что это был мой первый опыт лекторской работы и я не успел еще ознакомиться со всеми правилами, не стали настаивать на строгом соблюдении всех деталей и выплатили мне весьма существенную по тем временам сумму денег, положенную лектору. Так началось с поистине горьковского эффекта «обманутого ожидания» мое пятилетнее сотрудничество с Обществом по распространению знаний.

Летняя сессия далась мне легко – слишком легко, как показалось мне. Я испытывал ощущение, что за истекшие четыре года своего обучения на литературоведческом отделении в значительной степени исчерпал все, что оно могло мне дать, и стал задумываться о том, чтобы перейти на другое, языковедческое отделение, таившее в себе возможность получения каких-то качественно новых знаний. В течение первых двух недель пятого курса эта мысль набирала силу и наконец вылилась в то, что я написал заявление с просьбой перевести меня на лингвистическую специальность. Это был первый опыт смены основного направления моей интеллектуальной деятельности, впоследствии повторявшийся каждые 7–10 лет моей жизни. Я с жаром приступил к чтению специальной лингвистической литературы, находя в ней элементы большей логической строгости рассуждения и доказательности, чем в ставшей привычной для меня мировоззренческой широте литературоведческого подхода.

С увлечением проработал «Мысль и язык» Потебни, о которой сохранил ностальгическое воспоминание со вступительной лекции Ивана Михайловича при нашем поступлении на первый курс. Но окончательное подтверждение

правильности своего решения получил после прочтения «Курса общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра. Это было скорее эстетическое, чем интеллектуальное восприятие: рассуждения, укладываемые в моем сознании в столь гармоничное целое, не могли не быть истинными. Я воочию убедился в справедливости интуиции Достоевского об идентичности гармонии, красоты и истины («Красота спасет мир»).

Моей выпускной дипломной работой на тему «Стиль повести А.П. Чехова “Степь”» руководила Франциска Леонтьева Фрадкина. В литературоведческий период моей учебы моим любимым писателем был Чехов, давший в своих компактных повестях и рассказах наиболее разностороннюю и правдивую картину сложного внутреннего мира русского интеллигента. Теперь я с особым удовлетворением занялся не общим описанием достигаемого им художественного эффекта, а скрупулезным анализом используемых писателем языковых средств. Мне оказался очень по душе предложенный Франциской Леонтьевой неторопливо-тщательный метод работы, начиная с разнесения по пронумерованным карточкам каждого отдельного предложения текста с отмечаемыми на оборотной стороне карточки стилистическими и языковыми особенностями именно данного предложения. Это был мой первый опыт интенсивной, «вьедливой» работы с текстовым материалом.

В практическом плане мое освоение языковой стихии проходило в рамках лекторской деятельности по линии Общества по распространению знаний. В среднем я читал лекции приблизительно один раз в месяц, иногда чаще, в отдаленных, трудно доступных поселках Молотовской области, где более маститые члены Общества показывались редко, предпочитая получать лекторские направления в пределах города или в близлежащие к нему районы. Значительно большее время у меня уходило не на сами лекции, а на преодоление, посредством железнодорожного, автобусного и иных транспортных средств, далеких расстояний до места их проведения. Я не слишком сетовал на эти трудности, поскольку они давали мне возможность

пополнить мое скудное знакомство с реальной жизнью «простых» людей за пределами большого города. Особую роль в этом отношении играл «гужевой» транспорт, обычно используемый на конечном этапе длительного пути к пункту назначения. Трясаясь в телеге с запряженной в нее мохнатой лошадкой, я ощущал свою непосредственную сопричастность окружающему миру. До сих пор в моей памяти стоят широкие панорамные виды красочной уральской природы с ее неровной поверхностью, пересеченной пологими скатами невысоких холмов, островками еловых рощ и отвесными гранитными скалами по берегам Чусовой и Сылвы, памятные мне еще по фильму «Волга-Волга».

Не меньшее впечатление, чем картины природы, производила на меня раскрывающаяся передо мной бесконечная вереница разнообразных человеческих характеров и отношений. Я взял себе за привычку стремиться из каждой поездки выносить какое-либо яркое наблюдение о необычном повороте человеческой судьбы, нестандартном поступке или происшествии или о каком-либо поразившем меня обороте речи. Однажды с новым для меня чувством собирателя образцов устного народного творчества я записал в свой блокнот: «Трактор сорвал дорогу» как пример живого образного разговорного синтаксиса.

Большая часть моих лекций была посвящена Н.В. Гоголю, столетие со дня смерти которого отмечалось в 1952 году и который был значительно более созвучен мне по стилю своего творчества, чем А.М. Горький. С каждой новой лекцией, выступая в различных условиях и перед самыми разными аудиториями, я постепенно преодолевал ошибки моего первого «блина-комом» и приобретал все большую уверенность в себе. Различные виды работы с текстами все в большей мере стали составлять основное содержание моей «внутренней среды». Не давая себе в этом ясного отчета, я интуитивно готовил себя к своей предстоящей профессиональной деятельности в сфере обработки устного и письменного слова.

В конце сентября наша семья получила извещение из Казанской психобольницы о кончине отца и немногие оставшиеся после него бумаги и документы. Он умер, так и не дождавшись официального решения суда. Меня охватили противоречивые чувства щемящей личной утраты и одновременно какого-то глубинного проникновения в трагическую сущность нашего человеческого бытия (памятуя слова отца при последнем нашем свидании в Перми о большом духовном облегчении, с которым он встретил бы конец своего земного существования, принесшего ему столько страданий). «Ныне отпускаеши!» – прозвучало в моем сознании библейское изречение. Среди присланных бумаг особой болью в моем сердце отозвалась фотография, по-видимому сделанная с отца сразу же после ареста, с необыкновенной яркостью отражавшая его духовное состояние несломленности выпавшим на его долю испытанием, готовности психологически противостоять в неравной борьбе всей рати ополчившегося против него враждебного мира. Остро тронули меня письменные строки, обращенные к маме и свидетельствующие о безысходном одиночестве отца в его беспросветном заточении:

Пиши, мой друг. Пиши, хотя б немного.  
Пиши, мой друг. Пиши хоть что-нибудь

К сожалению, среди бумаг не нашлось ничего из философских записей папы, и мне отныне пришлось только полагаться на свою память о далеких беседах с ним. После XX съезда КПСС мы подали прошение о его реабилитации на основании недоказанности выдвинутого против него обвинения, которое получило положительное решение.

Быстро пролетела зимняя сессия. Незадолго до выпускных экзаменов наша группа отмечала в общежитии день рождения Люси Рубинштейн и одновременно наше прощание со студенческой жизнью. К этому дню Миша Печерский написал стихи поздравления Люсе, воспринятые как прощальное напутствие всем нам:

Желаю тебе я по жизненной ниве  
Пройти не споткнувшись походкой красивой.  
Да так, чтоб в потомстве молва заходила  
О славной походке прабабки Людмилы.

На выпускном вечере Иван Михайлович Захаров, со свойственным ему умением найти неформальные, соответствующие переживаемому моменту, доходящие до сердца слова, сказал при улыбчивом одобрительном понимании девичьей части присутствующих: «Ну, девоньки, вы получили дипломы и решили одну задачу вашей жизни. Теперь вам надо решить вторую задачу – вить гнездо, птенцов высиживать». Таким образом, Иван Михайлович, запустивший нас пять лет назад на стезю нашей студенческой жизни, поставил к ней финальную точку, знаменующую начало качественно нового отрезка нашего существования. И хотя это его пожелание было непосредственно адресовано женскому большинству курса, оно нашло отклик в мужских сердцах наших «гоплитов», поскольку мы стояли перед той же проблемой: наладить стабильный *modus vivendi* с внешним миром, доселе определяемым предписываемым нам учебным календарем, но отныне подступившим к самому порогу частной жизни каждого и требующим индивидуальных решений под свою личную ответственность.

Ближайшая насущная задача состояла в получении направления на работу. Я уже задолго до этого решил снова обратиться за помощью к Надежде Григорьевне Конюховой с просьбой дать заявку на направление меня в Заочную вечернюю школу, где я уже проработал около полутора лет учителем английского языка. Она охотно согласилась. К некоторому моему удивлению, дело обошлось без каких-либо существенных формальных трудностей, и через несколько дней я имел официальный штамп в паспорте о постоянном месте работы в Заочной школе на должности учителя русского языка, литературы и английского языка.

Из моих уже знакомых по последним двум студенческим годам сослуживцев, с исключительной душевной теплотой принявших меня в свой



круг, особенно близкие дружеские отношения сложились у меня с Николаем Захаровичем Коротковым, сохранившиеся до настоящего времени. Коля Коротков, учитель русского языка и литературы, был одним из наиболее оригинальных и самобытных людей, с которыми мне довелось повстречаться в жизни. В его внешнем облике, при всей неподдельной «русскости» его характера, был отпечаток каких-то восточных истоков, воплощавший, в моем представлении, евразийскую составляющую русского национального менталитета. Я не встречал человека с большим отсутствием инстинкта самоутверждения, подчинения себе окружающих людей и внешних обстоятельств. Это сочеталось с исключительным богатством и глубиной его внутреннего мира. Ключ к пониманию этой своеобразной личности виделся мне в его обостренном – я бы сказал, эстетическом – восприятии быстротекущего настоящего мгновения во всей неисчерпаемой полноте его жизненного содержания. Мне порой казалось, что он впитывал в себя ощущения от самых обыденных бытовых ситуаций с чувством, аналогичным тому, с каким я слушал свои любимые музыкальные произведения или созерцал, в последний период моего увлечения живописью, натюрморты в исполнении великих мастеров кисти:

«Цветок благоуханный и простой,  
Но отчего в нем голос бога внемлю?  
Он будто часть музыки неземной,  
Созвучьями спустившийся на землю».

Совсем по Гёте: «Остановись, мгновенье. Ты прекрасно!». Коля был несомненно музыкален; но музыкальность его имела основание на каком-то глубинном нерасчлененном *grund*-уровне души. Он мог подолгу сидеть за фортепиано, перебирая клавиши и вслушиваясь в обертоны случайно возникающих созвучий. Но он ни разу при мне не высказывал сожаления, что не получил специального музыкального образования, или желания обрести таковое. Он был постоянным полноценным участником всех наших общих культурологических начинаний, непременным посетителем симфонических

концертов и художественных выставок и вполне закономерно завершил свою преподавательскую карьеру заведующим кафедрой эстетики Пермского Политехнического института в должности профессора, доктора философских наук, пользующегося большим уважением своих коллег и студентов. К концу моей жизни я осознал, что он был один из двух-трех людей, оказавших решающее влияние на формирование моей личности – не столько прямым воздействием на меня, сколько самим фактом своего существования в качестве онтологического противовеса моему бытию, ежедневное соприкосновение с которым в течение ряда лет служило своего рода энергетическим «заземлением», нейтрализующим многие эмоциональные эксцессы моей природы и тем самым способствующим ее гармонизации.

Нашему сближению способствовало то обстоятельство, что Коля Коротков был издавна знаком с Мишей Печерским, а также, как выяснилось позже, с Ирой Богоявленской. Тем самым, у нас возник новый круг общения, заменивший мой прежний, студенческий. Мы стали часто бывать на Верхней Курье, как назывался малозаселенный правый берег Камы прямо против Перми, служивший благодаря своему песчаному пляжу любимым местом летнего отдыха горожан. Там мы подружились со светлоголовым Юрой Поповым (получившим у нас прозвище «Юры Беленького»), своего рода «Всезнайкой», стремившимся показать свою осведомленность о любом предмете, о котором заходила речь. Он часто «прогуливал» кого-то из нашей компании на своей яхте. Однажды при неудачном вираже яхта перевернулась, и все мы оказались в воде; некоторых закрыло парусом; к счастью, это произошло в нескольких метрах от берега и никто не пострадал. Неожиданно я встретил среди заядлых яхтсменов ту секретаршу приемной комиссии, которая чуть было не подвела меня пять лет назад при поступлении в университет с кембриджским аттестатом. Она оказалась приветливой, словоохотливой женщиной, постоянно распевавшей:

Эй, капитаны, на палубу стаканы!

Бутылок батареи, чтоб стало веселее.

Она так и вошла в общение с нами под именем «Капитан». Мы с ней быстро сошлись, как старые знакомые, хотя до этого не встречались все предыдущие годы. Она сразу стала агитировать нас организовать путешествие на яхте вниз по Каме с возвращением на пароходе обратно. Никто не откликнулся, хотя мне эта идея сразу приглянулась.

В сентябре Юра Суворов поступил в аспирантуру при кафедре философии Московского Университета и на ближайшее время вышел из прямого общения с нами. Это воспринималось всеми как большая удача. Пример Суворова катализировал зародившийся у меня на пятом курсе интерес к философии, особенно в древнегреческий период ее развития. Я усердно проштудировал известный в то время учебник Г.Ф. Александрова, сдал кандидатский экзамен молодым, недавно защитившемся философам Шершунову и Новику и, ободренный их положительным напутствием, поехал при первой подвернувшейся okazji в Москву прозондировать возможности своего поступления в аспирантуру. С этой целью я посетил Юру в его университетском общежитии.

Все в высотном здании МГУ поразило меня своими широкомасштабными габаритами. Юра встретил меня приветливо и стал охотно знакомить с планировкой своего двухкомнатного номера ,рассчитанного на одного человека в каждой комнате, . Видно было, что он гордится непривычными для нас, провинциалов, бытовыми удобствами. С особым удовольствием он продемонстрировал душевое оборудование и подробно объяснил, как пользоваться обслуживающими его импортными приборами. Подчеркнул круглосуточное наличие горячей и холодной воды и вытекающую отсюда возможность любому из двух обитателей номера принять душ в любое время дня и ночи. Тут же предложил мне опробовать душ, чем я, уставший от длительного переезда из Перми, не преминул воспользоваться. К вечеру мы вышли на близлежащий сквер, и Юра стал вводить меня в курс современных московских порядков. Основное внимание он почему-то уделил описанию

случаев нестандартного поведения, нарушения общепринятых норм приличия со стороны как многочисленных иностранцев, заполонивших, по его словам, город, так и исконных москвичей. У меня даже сложилось впечатление, что он чуть ли не признает свободное от каких-либо внешних нормативов поведение показателем причастности человека к особой «касте», живущей по своим, только ей известным предписаниям чести и морали. Это настолько не соответствовало прежде известной мне выдержке и психологической уравновешенности Юры Суворова, что теперь, казалось мне, передо мной стоит какой-то малознакомый мне человек. Я пробыл в Москве еще два дня, пытаюсь безуспешно наладить какие-то контакты с философским московским миром по данным мне в Перми адресам и телефонам, и вернулся домой со смутным представлением о противостоящих друг другу двух типов ценностных критериев и жизненных стилей, «столичном» и «провинциальном», с нерешенным вопросом: какой из них ближе мне и моим нравственным установкам.

По моем возвращении в Пермь меня каким-то образом нашла наша Капитан и напомнила о своем предложении спуститься на яхте по Каме. В этом году на Урале стояло исключительно теплое бабье лето, и мы с Колей Коротковым быстро согласились. Миша Печерский по каким-то обстоятельствам не смог присоединиться к нам. Нам удалось сагитировать Альбину, дочь нашей школьной учительницы химии, и получить согласие ее матери под наше заверение избегать малейшего риска. Таким образом, собралась команда: Капитан, мы с Колей, Альбина; пятым членом была кандидатура Капитана – двенадцатилетний подросток Вовка, который, по ее словам, сможет, если понадобится, взлезть на мачту или выполнять другие требующие мальчишеской сноровки задания в пути.

В день отплытия, назначенного на пять часов дня, нас пришли провожать родители Альбины, не скрывающие своей неуверенности насчет правильности данного ими согласия на это рискованное предприятие, и Миша Печерский. Не

знаю, как у других участников экспедиции, но у меня начало сосать под ложечкой от смутного чувства неопределенной тревоги. Но вот мы отчалили. Через четверть часа наша яхта проплыла под мостом. Впервые я воспринимал его не с берега и далекого расстояния, а так, что мог вытянутой рукой дотронуться до его громадных каменных опорных столбов. Вода реки, с берега казавшаяся зеркально неподвижной, с журчанием и завихрениями обтекала их. Вскоре последние следы города и всякого человеческого жилья исчезли из вида, и мы почувствовали себя первопроходцами необитаемой планеты. Решили пораньше устроиться на ночлег, чтобы как можно скорее адаптироваться к новым ощущениям. Для этого надо было найти на каком-то из двух берегов удобную бухту для причала. Это оказалось не таким уж простым делом. Берега по обеим сторонам были отвесными и неприступными. Но сам поиск подходящего пристанища отвлек наши мысли в привычное утилитарное русло и снизил возникшее при отплытии напряжение, так что, когда Капитан указала на приемлемое место ночлега, мы решили плыть дальше. Время шло. Начинало смеркаться. Нашли уютную бухту. Значительно раньше привычного, часов в девять устроились на свой первый ночлег. Спали, как убитые.

Проснувшись утром, я сразу почувствовал переполнявшее меня душевное состояние, которое не мог определить иначе, как непосредственную радость бытия. Открыв глаза, я несколько минут лежал неподвижно, боясь спугнуть это ощущение. Сквозь листву деревьев на берегу пробивались веселые лучи солнца, образуя сложную чересполосицу света и тени на поверхности реки. От вчерашних противоречивых переживаний не осталось и следа. На душе все было ясно, как это светлое утро. Позавтракав, поздравив друг друга с началом первого настоящего дня нашего путешествия, мы оттолкнулись от берега. Я занял место на носу яхты, на самой передней его части, так что весь корпус нашего судна остался позади, вне поля моего зрения, и я ощутил себя несущимся по воздуху над зеркальной водной гладью, не чувствуя под собой ни малейшего колебания яхты в силу полного безветрия. Мы плыли по самому

центру реки. Мимо беззвучно проплывали живописные берега с обеих сторон. Разговоры на яхте сами собой затихли.

Меня поразило какое-то особое качество тишины, опустившейся как покрывало на землю, примирившей, казалось, все противоречия жизни и знаменовавшей собой не звуковую пустоту бытия, а его предельную полноту, чреватую всеми возможностями существования. Мне представлялось в это мгновение, что мне открылся подлинный смысл древнегреческого философского понятия *те-он*, «не-бытия», как бесконечной и бескачественной предпосылки всякого конкретного существования. Через множество лет я познакомился с греческим же понятием «*исихия*», обозначающим просветленное «духовное спокойствие, внутреннюю тишину», которое наилучшим образом соответствовало моему тогдашнему состоянию.

Почувствовав потребность в музыкальном оформлении охватившего меня настроения, я попросил передать мне аккордеон. Не помню, чтобы я когда-либо еще играл с подобным одушевлением. Можно представить себе впечатление какого-нибудь стороннего наблюдателя: бескрайние безлюдные просторы, медленно плывущее по реке парусное судно и поглощаемые как губкой этой емкой пронзительной тишиной звуки народных русских песен, составлявших мой несложный репертуар. Переживаемое чувство запечатлелось в моей эмоциональной памяти как живое ощущение потока времени, несущего на себе настоящее мгновение как щепку в безбрежный океан будущего.

В стихотворной летописи своей жизни, написанной им много лет спустя, Коля отобразил свои впечатления от нашего камского плавания в своей излюбленной поэтической форме сонета:

«Не знаю больше наслажденья,  
Чем в яхте Каму разрезать,  
Небес высоких отраженья  
Волною легкою ломать.

Наш Юра больше не оракул,  
Простой матрос, я – за рулем,  
И по маршруту Пермь – Сарапул  
Плывем на яхте впятером.

Коль спать – на яхте есть каюта  
Не для вальяжного уюта,  
Но теснота для нас не враг.

А днем костер – уха и каша,  
И где-то рядом яхта наша,  
На мачте ленточка, как флаг.

На третий или четвертый день нашего плавания погода резко ухудшилась. На середине реки на наше судно внезапно обрушился ураганный ветер, постоянно меняющий свое направление. Надо было срочно причалить к берегу, чтобы переждать непогоду. Но как назло не видно было подходящего причала. Мы метались по реке от одного берега к противоположному, едва успевая по команде Капитана перебросить подвижной парус от одного борта к другому, чтобы изменить направление накренившейся яхты. Трудно было представить, что произошло бы, если бы судно зачерпнуло воды и перевернулось, как это однажды уже случилось в Верхней Курье с яхтой Юры Попова. Но каким-то странным образом ни у кого не возникло ни малейшего страха от сознания грозившей всем опасности. Наконец мы благополучно пришвартовались. До конца дня ни о каком дальнейшем плавании не могло быть и речи. На следующее утро погода как ни в чем не бывало утихомирилась. Доплыв до Краснокамска, мы телеграфировали родителям Альбины и моей маме о том, что мы живы-здоровы. Наше дальнейшее плавание (около 400 км.) проходило по маршруту Нытва → Таборы → Оханск → Елово → Белово-Каракулино и завершилось в Сарапуле, памятном мне по воспоминаниям мамы о своем детстве в местечке Можга недалеко от этого города. Там мы погрузили яхту на пароход и вернулись в Пермь. По возвращении мы узнали из газет, что в тот

роковой день на Каме произошло множество несчастных случаев со смертельным исходом. Я мысленно поблагодарил судьбу, что эти сведения в свое время не дошли ни до кого из наших родных, иначе трудно было бы представить их душевное состояние при полной неизвестности в течение нескольких дней о нашей судьбе».

Тем временем жизнь Юры Суворова принимала все более неожиданный поворот. У него произошел конфликт с каким-то рязанским философом, который обратился к нему с просьбой дать отзыв на его статью в преддверии кандидатской защиты. Юра почему-то не ответил на его просьбу, за что получил отрицательный отзыв обиженного коллеги на одну из своих статей. Завязалась эпистолярная полемика со взаимными обвинениями в идеологической неортодоксальности. Юра посвящал меня во все подробности противостояния. Обдумывая эту информацию «из первых уст», «изнутри ситуации», я пришел к неожиданному для меня решению не связывать свою предстоящую научную судьбу с философией, находящейся под придирчивым контролем различных общественных инстанций, оставив занятия ею «для души», и найти себе другую сферу будущей профессиональной деятельности, допускающую большой диапазон внутренней независимости. Но какую?

На ум пришло мое недавнее переключение на языковедческую специальность. Однако я еще не успел достаточно глубоко вникнуть в сущность этого нового для меня предмета, чтобы реально прочувствовать таящиеся в нем перспективы. Мне требовалось сохранение уже многолетней связи с литературоведческим кругом интересов, но на более широком, качественно новом материале. Как только я четко поставил перед собой этот вопрос, как меня осенило – *мировая литература*. Мое свободное владение двумя иностранными языками, английским и французским, должно было послужить мне существенным подспорьем в этом новом начинании, органически вписывающимся в основное направление моего духовного развития. Весьма существенным дополнительным фактором, укрепившим меня



в этом решении, было то, что преподаватель зарубежной литературы, Екатерина Осиповна Преображенская, уже давно привлекала мое внимание и симпатии высоким уровнем чтения лекций. Через маму Агиты Паздниковой я познакомился с прежде неизвестными мне именами и творчеством писателей Андре Жида и Фейхтвангера. Первый привил мне интерес к эволюции идей и процессу развития человеческих личностей («Классицизм ценен только как преодоление романтизма»). Фейхтвангер увлек широкими обобщениями из эпохи раннего христианства и скрупулезным анализом субъективного процесса принятия решений («Кто, если не ты, и когда, если не теперь?»). Я стал интенсивно готовиться к вступительным экзаменам в аспирантуру по специальности «зарубежная литература» и весной послал документы в приемную комиссию Ленинградского Пединститута имени Герцена.

Тем временем стали доходить тревожные слухи о замечаемых у Юры Суворова «неадекватностях» поведения. Мне самому все чаще доводилось замечать во время его приездов в Пермь «отклонения от нормы» в его словах и поступках. Ему предложили взять временный «творческий отпуск» для поправки своего здоровья. Лечение не помогло. Дело кончилось тем, что он был признан больным шизофренией. Это известие как громом поразило всех, знавших его. Самая светлая голова среди нас оказалась неизлечимо больной! Наиболее цельный и «правильный» во всех отношениях человек из нашей среды, пользовавшийся всеобщим уважением и симпатией, кончил психбольницей! Это не укладывалось в сознании и в какое-то представление о жизненной справедливости.

Строились бесконечные предположения о причине случившегося. Я имел на этот счет свою частную гипотезу, опираясь на свой личный опыт общения с ним в те роковые дни в Москве. Я считал – и до сих пор считаю – что если не прямой причиной, то одним из основных способствующих факторов, катализировавших трагедию, послужило резкое изменение психологической среды и ценностных ориентиров его жизненного окружения после окончания

университета. Юра Суворов происходил из сибирской глубинки, где был воспитан в стандартной советской семье в духе верности общепризнанным идеалам. Внезапное перемещение его в социальную сферу, подверженную начавшемуся проникновению западных оценочных критериев в советское общественное сознание, привело к крутой ломке подсознательных основ его нравственных убеждений. Таким образом, Юра Суворов, в моем представлении, явил своей личной катастрофой одну из первых жертв, предзнаменующих грядущую перестройку советского менталитета по западным образцам.

История с болезнью Юры Суворова получила драматичный финал на очередной встрече нашей группы по случаю годовщины нашего выпуска из университета. Еще во время учебы Тоня Огорельцева была предметом доброжелательных шуток по поводу ее общеизвестной симпатии к Юре Суворову. Проживая теперь, кажется, в Челябинске, она впервые приехала на встречу бывших выпускников. Кто-то невзначай упомянул о недавно пережитой всеми трагедии Юры. Это привело к поразившей всех реакции Тони. С ней случился страшный приступ истерики. Оказывается, она впервые услышала о случившемся. Мы с трудом откачали ее. Когда она несколько пришла в себя, то, глотая слезы, произнесла: «Этого не произошло бы, если бы жизнь не разлучила меня с ним и мы были бы вместе». «И если бы он не уехал в Москву», - мысленно добавил я. Насколько мне известно, Тоня Огорельцева в дальнейшем так и не вышла замуж, хотя обладала открытым и общительным характером. Так завершилась линия человеческих судеб, связанных с трагической участью Юры Суворова, знаменовавшей для меня самую тяжелую, после страдальческой кончины отца, личную утрату того времени.

Летом я поехал в Ленинград сдавать вступительные экзамены в аспирантуру. Сдал я их, на мой взгляд, неплохо, получив пятерки по всем предметам, кроме одной четверки по специальности. Но этого оказалось недостаточно. Приняли Диму Наливайко с западной Украины, из разговоров с

которым я заключил, что он был подготовлен значительно лучше, чем я. Поэтому я не был обескуражен своей неудачей, которая, напротив, настроила меня решительней добиваться своей цели, ставшей для меня еще более желанной.

Когда по возвращении в Пермь я рассказал друзьям о своих ленинградских приключениях, на меня неожиданно обрушилась с упреками Элла Даниловская, подруга Иры Богоявленской. «Чего ты все стучишься в запертую дверь? – возбужденно спрашивала она. – Так недолго себе и лоб расшибить. Подумать только: у человека огромное преимущество перед всеми нами – даром данное ему знание иностранного языка, а он упрямо тратит силы на ветряные мельницы. Это просто какое-то донкихотство. Тебе надо не лезть туда, где тебе все равно не дадут хода, а использовать то, что само собой просится. Получай высший диплом по иностранному языку, где тебе нет равных и куда никакой контролер не сунется, и живи себе припеваючи, поплеывая на всякие проверки!».

Элла Даниловская была своеобразным человеком, с решительным характером и твердыми взглядами на жизнь, на все возникающие у человека проблемы имела однозначные решения, которые осуществляла с редкой последовательностью и упорством. Она уже тогда, в относительно раннем возрасте, дважды побывала замужем и каким-то образом устроилась на работу в кордебалет оперного театра (хотя не имела специального хореографического образования). Элла была мне симпатична своей прямоотой, здравым смыслом и полным отсутствием ожиданий каких-либо проявлений «мужского интереса» с моей стороны, что позволяло мне чувствовать себя на редкость свободным в общении с ней. Слова ее глубоко запали мне в душу и направили мои мысли в непривычное для них русло. Действительно, подумал я, мое шанхайское прошлое до сих пор причиняло мне одни неприятности. Не пора ли попытаться обернуть его на пользу себе и своей жизненной судьбе? Особенно убедительными показались мне слова Эллы о том, что выбор английского языка

в качестве основы моей будущей профессиональной деятельности гарантирует мне большую независимость моего внутреннего мира от внешних вторжений, чем любой другой. Когда я поделился своими новыми планами с Екатериной Осиповной Преображенской, она одобрила их и сказала, что она находится в давних дружеских отношениях с Борисом Александровичем Ильишом, нашим виднейшим научным авторитетом в английской филологии, работающим в институте Герцена, обещав дать мне рекомендательное письмо к нему. Действительно, через несколько дней она передала мне весьма увесистое запечатанное письмо с его адресом и личным телефоном. В результате на протяжении 1955 года во мне крепло твердое решение изменить свою жизненную стратегию, перестать «плыть против течения», но идти к цели наиболее естественным и безболезненным путем. А философские и литературоведческие мои интересы, подумал я, никуда не денутся, но просто перейдут в сферу моего *отнеа теа*.

Незадолго до нашего путешествия по Каме в наш дружеский круг вошла Эмма Пономарева, студентка выпускного курса Медицинского института, и ее сокурсник Изя Гиндис. Оба были увлечены психиатрической теорией З. Фрейда и предложили познакомить нас с этим учением, начинающим входить в моду в нашей стране. Мы собрались на квартире у Коли и с интересом выслушали их сообщение, после которого как-то сама собой возникла идея собираться время от времени для обсуждения интересующих нас культурологических вопросов. Даже придумали шутовское название такого импровизированного кружка: «Зеленая Бутылочка», по аналогии с «Зеленой Лампой» пушкинских времен. Эмма сказала, что привлечет к участию в кружке своих друзей, живших по соседству с ней в районе Запруда, Риту Баишеву и Владимира Дюкова.

Как-то естественным образом Эмма с самого начала стала выполнять функцию «хозяйки салона». Всеми особенностями своей личности она подходила для этой роли. Неизменно приветливая и доброжелательная, ровная в обращении со всеми окружающими, умеющая сглаживать возникающие

разногласия, она на протяжении краткого существования нашего кружка была его связующим началом. К ней сразу же прочно пристало имя «княгиня Эмма», данное ей Колей в написанном им «Гимне “Зеленой Бутылочки”», к которому я сочинил мелодию:

Княгиня Эмма, затянем песню  
И тост поднимем, все ждут давно.  
Спор надоел нам, ведь интересней  
Вести беседу и пить вино.  
Первым тостом утвержденная  
В честь искусства, дружбы и нау-ук,  
Эх, Бутылочка Зеленая,  
Не покидай наш кру-у-у-уг!  
Эх, Бутылочка Зеленая,  
Не покидай наш круг.

Мы втроем с Мишей несколько раз прорепетировали песню у меня дома и с большим воодушевлением спели ее на нашей первой встрече. У нас установился определенный распорядок дня для подобных «тусовок» приблизительно раз в месяц на дому у Коли, обладавшего наилучшим жильем из всех нас. Мы собирались часа в три, накрывали праздничный стол и отправлялись на лыжную прогулку в соседний лес. Часа через два возвращались, разгоряченные, и с особым рвением обсуждали ту или иную проблему из истории культуры. Вскоре к нам присоединились Костя Лоскутов, внушавший всеобщую симпатию своей непритязательной естественностью обращения, и Лида, сразу получившая прозвище «Помпон» из-за своей яркой шапочки с шерстяным круглым комочком на макушке. Лида была убежденной практикующей последовательницей одной из разновидностей индийской хатха-йоги, доказывающей всем материальную природу психической энергии, основанной на дыхании, «пране». И уж конечно не преминул принять самое активное участие в нашем предприятии, столь созвучное его природному коммуникативному темпераменту, Юра Попов.

Я обычно брал на себя сообщения по древнегреческой философии. Эти камерные дискуссии сыграли существенную роль в становлении лекторского стиля тех из нас, кто был непосредственно связан с преподавательской деятельностью, то есть, в первую очередь, Коли и моего. Я сохранил привычку сочетать лыжные прогулки с последующими «интеллектуальными застольями» на все последующие годы. Эмма много лет спустя, сохранив отсвет нашего тогдашнего «зелено-бутылочного» духа, писала уже в пенсионном возрасте:

«Я помню, был у нас притон  
Ученых и поэтов.  
Немало было мне при том  
Посвящено сонетов  
    Бутылка тонет и всплывет,  
    Но не пойдет она на дно.  
    И снова юность оживает.  
    “То было недавно, то было давно”.

Значительная доля общей для всех нас ностальгической памяти об одном из наиболее ярких периодов нашего прошлого звучит в следующих ее словах:

«Все реже видим мы друзей.  
Все разбрелись, кто насовсем, а кто в Европу.  
Остались мы, да воробей.  
Такая тишина, как при потопах.  
    Живем по-прежнему, то нам не в укоризну.  
    Бредем по миру мы, как призрак коммунизма».

*4). Свет в конце туннеля.* 1956 год застал меня на пороге становления новых глубинных жизненных установок, постепенно вызревавших во мне с момента ареста отца в апреле 1951 года. Я окончательно утвердился в решении связать свое профессиональное будущее с изучением английского языка. В личностно-мировоззренческом плане также сформировалось стабильное представление о той жизненной ситуации, в которой я нахожусь. Она приняла вид четкого кантовского противопоставления свободного внутреннего «мира-в-себе», нашедшего проявление в нашем новообразованном культурологическом

кружке, внешнему «миру-необходимости». В этом смысле образ «бутылки» в качестве материальной преграды, разделяющей эти два мира, приобретал для меня символическое значение.

Что касается самого внешнего «мира-необходимости», представлявшегося до сих пор гранитно неподвижным и монолитным, то в нем начали ощущаться какие-то малозаметные колебания и изменения. Прошедший в 1956 году XX съезд КПСС, в отличие от всех предыдущих, подготовка к которым и сам процесс их проведения широко освещались в прессе, был покрыт каким-то покрывалом неясности и недосказанности, порождающих столь же неопределенные слухи. Наконец, 30 июня 1956 года было опубликовано официальное постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий», как громом поразившее советское общество.

Для меня оно обозначало полный переворот в моих сложившихся представлениях. Оказалось, что пережитая мною персональная утрата была не только моей личной катастрофой, но имела корпоративный характер и представляла собой лишь частный случай общей трагедии миллионов моих соотечественников. Таким образом, случившееся не только не выделяло меня из окружающих, но напротив, объединяло нас, как «товарищей по несчастью». Более того, я как никогда почувствовал себя живым участником русской тысячелетней многотрудной истории, изобиловавшей подобными трагическими перепадами. Мое личное *omne a te a*, усиленно культивировавшееся мною с ранних лет, теперь предстало передо мной не как некое уникальное, присущее только мне субъективное явление, но в качестве органической части общенационального «*omne a nostra*», служащего одновременно итогом и движущей силой нашей истории. Это был резкий скачок от крайнего индивидуализма к выстраданному горьким опытом специфически русскому чувству *соборности*, интерпретируемой мной в терминах музыкальной гармонии: подобно тому, как музыкальный аккорд состоит из качественно различных нот, образующих в своем сочетании некое единство высшего

порядка, так существует абстрактное высшее единство общенационального *omneia nostra*, объединяющего бесчисленное множество внутренних «миров-в-себе» в качестве «русской идеи», являющейся одновременно итогом и движущей силой нашего корпоративного бытия.

5). «От Перми до Тавриды». На фоне этого духовного прозрения в следующем 1957 году я с особым одушевлением стал готовиться к вступительным экзаменам в аспирантуру при кафедре английской филологии Ленинградского педагогического института имени Герцена. В качестве вступительной письменной работы я послал анализ языка и стиля Голсуорси, написанный мною не на русском языке, как это требовалось по правилам, а на английском, чтобы попытаться продемонстрировать свое свободное владение языком. Весной, перед моей поездкой в Ленинград, мы своей обычной компанией поехали отдохнуть в деревню Кыласово. Там Элла Даниловская как-то обратилась к нам с Колей в своем привычном назидательном стиле: «Что вы все болтаетесь летом по местным деревням? У вас уникальный двухмесячный отпуск, другой давно бы на вашем месте исколесил всю страну вдоль и поперек!». Эти слова подхлестнули нас, и мы отправились в ОблОНО, где получили две «горящие» путевки на конец лета в Анапу.

В начале лета я поехал в уже ставший родным и знакомым Ленинград, где сдал вступительные экзамены на круглые пятерки. Мне запомнился следующий эпизод. На экзамене по специальности в своем ответе по роману Дж. Мередита «Эгоист» я упомянул характеристику, которую дала главному персонажу покровительствующая ему блюстительница светских условностей высшего английского общества: «*He has a leg*». Борис Александрович Ильиш попросил меня разъяснить эту метафору. Выслушав мой комментарий, он, как мне показалось, одобрительно кивнул головой и вскоре прекратил мой опрос. Я намеревался через некоторое время после экзамена передать ему письмо от Екатерины Осиповны Преображенской (чтобы Ильиш не заподозрил меня в



попытке как-то предрасположить его в мою пользу); но какое-то внутреннее чувство долго удерживало меня от этого.

Приближались сроки нашей поездки в Анапу. Передо мной встал вопрос: дожидаться ли официального приказа о зачислении в аспирантуру, пожертвовав своей туристической путевкой, или немедленно ехать в Анапу? Я обратился с этим вопросом к председателю общеинститутской приемной комиссии. Он заверил меня, что я имею все основания считать себя зачисленным в аспирантуру по кафедре английской филологии. Заручившись этим заверением, я отправился на свой летний отдых. Через три недели пришла поздравительная телеграмма от мамы о моем зачислении в аспирантуру. Таким образом, мое пребывание на юге России послужило заключительным событием моего первого отрезка жизни на Родине – «от Перми до Тавриды», знаменовавшим расширение круга моего жизненного восприятия и переход к качественно новому этапу моего существования. Лишь много позднее я узнал, что первоначально вместо меня приняли профсоюзного работника института и только по ходатайству кафедры в Министерство мне было выделено дополнительное место. Так, в который уже раз моя судьба решилась стихийным образом, без какого-либо личного моего участия.

Когда я прибыл в конце августа в Ленинград, меня поразила какая-то необычная суматоха на Дворцовой площади: с окаймлявшего ее полукругом здания Генерального штаба в суетной спешке снимались портреты многих членов Политбюро. Оказалось, что только что в Москве состоялась неудачная попытка сместить Н.С. Хрущева с поста Генерального секретаря КПСС, и все участники «заговора» во главе с В.М. Молотовым были лишены власти. Одним из последствий было возвращение городу Молотову его исконного наименования «Пермь». Этим заключительным событием завершился мой почти девятилетний период жизни, связанный с городом на Каме.

## Послесловие

Итак, мой начальный в России период «от Перми до Тавриды» характеризовался моим постепенным вживлением в новообетенную родную почву, в процессе которого были заложены мировоззренческие основы всего моего дальнейшего существования. Эти основы носили не абстрактный характер, но преломлялись через личностные особенности конкретных людей, с которыми сталкивала меня жизнь. Поэтому мысленное прощание с Пермью состояло у меня, прежде всего, в размышлениях о жизненных судьбах моих спутников по пермской жизни.

Прежде всего, я должен был осмыслить в контексте общенационального *omne nostra* страдальческую участь моего отца. Я пытался применить к нему самому его рассуждения о единстве духовных и физических законов жизни. Необычность многих его взглядов и принимаемых решений теперь виделась мной ценой, которой приходилось ему расплачиваться за нестандартность его натуры, причиной как несомненной одаренности его личности, так и постоянно сопутствовавших ему конфликтов с окружающими, приведших в конечном счете к его трагической гибели. С другой стороны, трагический финал Юры Суворова представлялся мне примером в противоположном смысле, в значительной степени определяемым, по моему суждению, не повышенной мобильностью его внутреннего мира, а наоборот, чрезмерной неподвижностью усвоенных с детства убеждений, неспособностью адекватно адаптироваться, сохраняя прежние нравственные устои, к резким изменениям внешней духовной среды.

Изменения, происшедшие в биографиях других моих сотоварищей по пермской жизни, за исключением рано ушедшей из жизни Белы Рославлевой, носили менее драматичный характер. Владимир Лепескин долго еще проработал в органах народного образования. Саша Воробьев со временем стал деканом журналистского факультета Московского университета. Лена Попова

(Полякова) защитила докторскую диссертацию, работала деканом нашего филологического факультета. Миша Печерский изменил поэтическому началу своей жизни, защитил кандидатскую диссертацию и сделал успешную карьеру в сфере педагогики. Его последние годы, омраченные тяжелой болезнью, были облегчены самоотверженной заботой его жены Люси, дарованной ему милостивой судьбой.

Знаменательным представляется конец жизни Тони Огорельцевой. Лора Сивкова, ближайшая подруга Тони, рассказывала, что в течение ряда лет в дни своего рождения получала за подписью своей студенческой подруги телеграммы с приблизительно одинаковым поздравительным текстом, но без указания обратного адреса, и у нее сложилось впечатление, что той уже давно нет в живых и что она поручила кому-то из близких людей посылать в назначенный день поздравления Лоре – и через нее всем нам – «с того света».

Мне ничего не известно о дальнейшей жизненной судьбе Володи Четверикова, о том, насколько достойно он сумел распорядиться своим незаурядным поэтическим даром, наглядное представление о котором дает следующая вдохновенная лирическая элегия нашему общему студенческому прошлому, сочиненная им 13-го декабря 1959 года на одной из последних встреч наших бывших однокурсников:

Я снова старинный свой круг узнаю  
И снова встречаю, волнуясь,  
Студенчества славную пору свою,  
Свою позабытую юность.  
    И снова назад убегают года.  
    Их ноша, как прежде, легка нам,  
    Как будто из сказки живая вода  
    Налита по нашим стаканам.  
Так пусть же теснее смыкается круг  
Старинных друзей и хороших подруг.  
Мы молоды, вместе и те же,  
Хоть встречи все реже и реже.

## Фотографии



Мои родители и я (мне 5 лет)



Выпуск колледжа Жанны д'Арк (я второй справа во втором ряду сверху)





Рут де Груши (фотография, сделанная в январе 2016 г. и отправленная автору)

Одна из них, угловая, выходила широким двухстворчатым окном, видимым на снимке, во внутренний дворик. Другая, в глубине за ней, была соединена узким коридором с ванной комнатой, небольшое окно которой, крайне левое на торцовом фасаде здания, выходило прямо на улицу. Типография занимала весь первый этаж. Бабушка и старшая мамина сестра с мужем жили в угловой комнате на втором этаже (два левых окна основного фасада на снимке); за ней в глубине была комната еще одних наших жильцов, Смутьских. На снимке на заднем плане видно высотное здание «Gascogne Apartments», куда мы ребятами часто бегали играть и любоваться панорамой города с верхнего этажа.»

*Из письма Г. Г. Сильницкого издателям книги*

«Большое спасибо за присланные Вами снимки. Я сразу узнал свой дом – особенно ясно он представлен на первом снимке. Цвет другой – был желтый; справа от дома в небольшой внутренний пассаж выходил маленький (2–3 кв. м.) кустарник. Но общее расположение дома осталось прежним и легко узнаваемым; удивительно, что за истекшие почти 70 лет он в основном сохранил свой внешний облик.

Мне повезло, что Вы засняли его, когда листва деревьев перед ним еще не распустилась и не заслонила его фасад. Наша семья занимала весь третий этаж: две смежные комнаты.

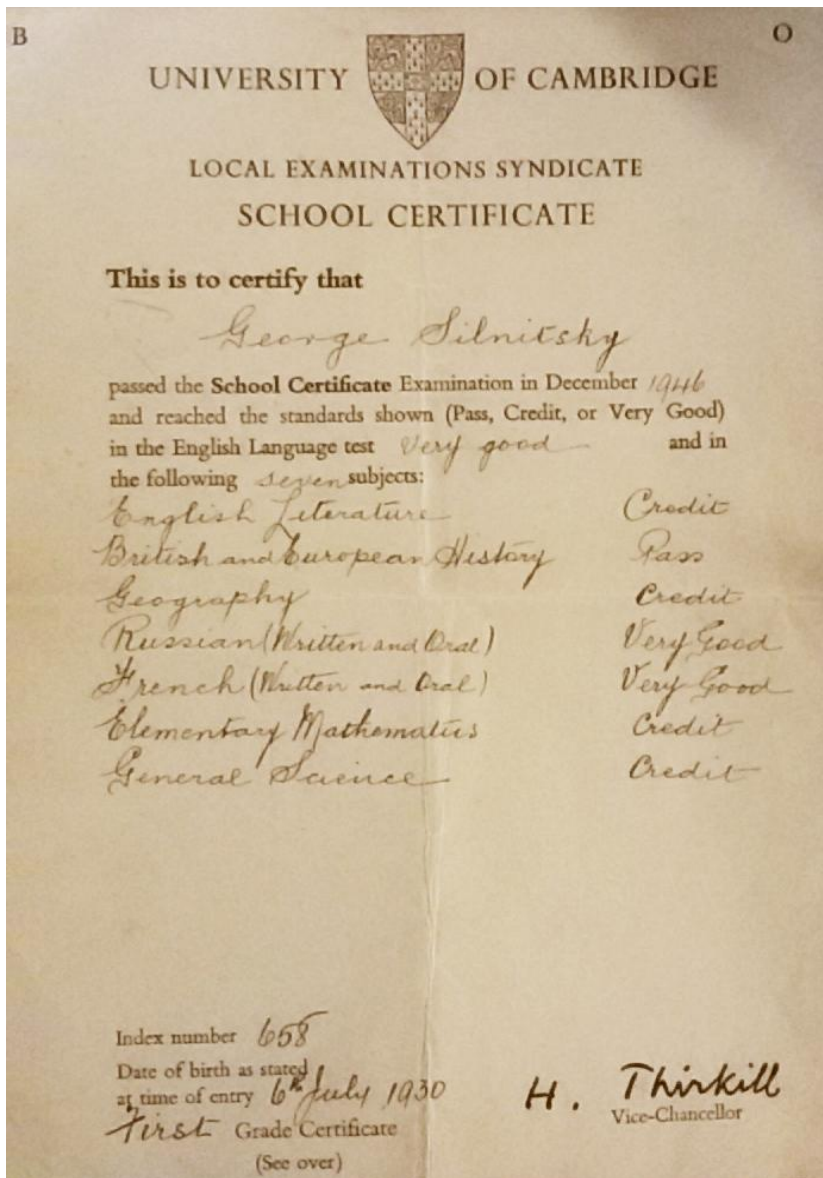


Во время учебы в колледже Жанны д'Арк.

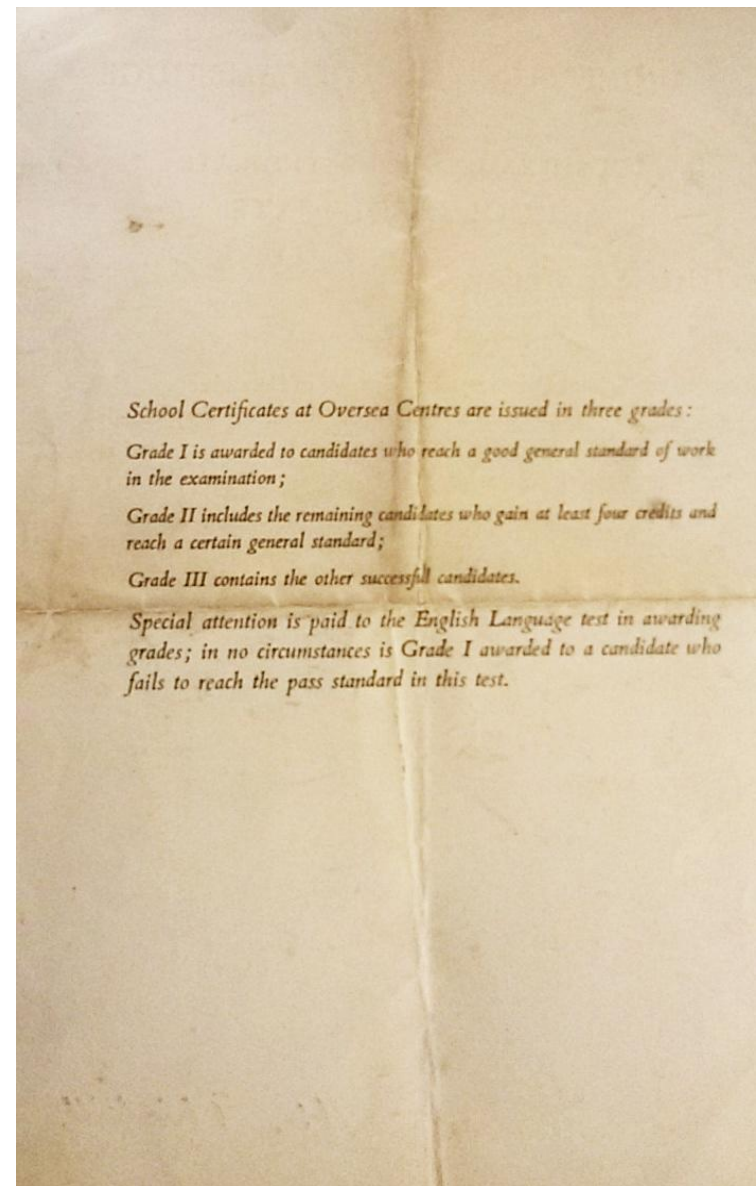


Перед отъездом в Советский Союз.





Диплом об окончании Cambridge University Junior



Диплом об окончании Cambridge University Junior  
(обратная сторона)



Октябрь 1951 г. Третий курс литературоведческого отделения историко-филологического факультета.  
Нижний ряд: Крайний слева – М. Печерский. Крайний справа – Ю. Суворов. Второй ряд снизу: Крайний слева – Г. Сильницкий. В центре – В. Лепескин. Третья справа – Л. Сивкова. Вторая справа – Т. Огорельцева. Третий ряд снизу: Крайний справа – А. Воробьев.  
Последний ряд: Вторая слева – Л. Баландина. Вторая справа – А. Паздникова.



Сильницкий Георгий Георгиевич

## **ОСВОЕНИЕ ПРОШЛОГО**

Издаётся в авторской редакции

Техническая подготовка, компьютерная вёрстка А. В. Пустовалова

Подписано к использованию 11.04.2016.

Объем данных 1,64 Мб.